

Юрий Герт

Избранное



Юрий Герт
Избранное

«Э.РА»

2014

Герт Ю. М.

Избранное / Ю. М. Герт — «Э.РА», 2014

Юрий Герт – автор романов "Кто, если не ты?", "Лабиринт", "Приговор", "Ночь предопределений", "Семейный архив", собраний повестей, рассказов и публицистики. Произведения писателя всегда были связаны с современностью и острейшими проблемами, которые ставило общество: личность и государство, свобода и угнетающий человека режим. Роман "Эллины и иудеи", вошедший в данный сборник, построен на строго фактическом материале и проникнут идеалами высокой нравственности и гуманизма. До 1988 года, на протяжении двадцати трех лет, Герт работал в отделе прозы литературного журнала "Простор" (Алма-Ата), откуда ушел в знак протеста против готовящейся публикации, носившей провокационно-антисемитский характер. Все коллизии, происходящие в журнале, показываются автором на фоне грандиозных событий, потрясающих страну и ее отдельные регионы.

© Герт Ю. М., 2014

© Э.РА, 2014

Содержание

Предисловие	5
Элины и иудеи	9
Предисловие	9
От автора	11
Шереметьево-2	14
Кто мы? Откуда? Куда идем?.	18
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Юрий Михайлович Герт

Избранное

Предисловие

Необычайно теплая весна в этом году. И потянулись перелетные птицы, возвращаясь к местам своих гнездовий. Но прежде чем опуститься, набирают они высоту, кружат в воздухе, хлопая крыльями, радуясь встрече с родными пенатами.

С нами все произошло наоборот – мы оставили навсегда родные края, и мало кому доведется вернуться обратно. А что касается высоты, то что может быть выше силы духа и мысли человека, даже оторванного от своей земли... И все-таки сохранившего видимые и невидимые нити связи с ней. Особенно если таким человеком был писатель Юрий Герт, для которого эмиграция стала вынужденным шагом, но одновременно явилась и новой высотой для его творчества.

Вот уже десять лет, как нет с нами этого талантливого человека, который умел не только проникать в тайный мир своих героев, но и вместе с ними утверждать идеалы добра, человечности и справедливости.

Характерной особенностью Ю. Герта явилось то, что он сам, его поступки всегда могли служить примером, потому что и в своей личной жизни, и в своем творчестве писатель опирался на правду, которая становится его творческим методом. Ту самую, о которой писал в «Несвоевременных мыслях» Максим Горький: «...говорить правду, это искусство труднейшее из всех искусств, ибо в своем "чистом" виде, не связанная с интересами личностей, групп, классов, наций, – правда совершенно неудобна для пользования обывателя и нетерпима для него. Таково проклятое свойство "чистой" правды, но в то же время это самая лучшая и самая необходимая для нас правда».



Юрий Герт родился в Астрахани в 1931 году. В начале Великой Отечественной погиб на фронте его отец, а чуть позже от туберкулеза умерла мать. В то время он находился в эвакуации с бабушкой и дедушкой в Узбекистане, откуда после войны вернулся в родной город.

Оставшись сиротой, парень не озлобился, не ушел в себя. Напротив, он активно включился в новую жизнь. Вместе с одноклассником Александром Воронелем (ставшим впоследствии ученым-физиком, писателем, редактором израильского журнала «22»), выпускает школьный литературный журнал. В нем, наряду с творческими исканиями, обсуждением общественных проблем, они смело критикуют недостатки... Это не прошло мимо бдительного чекистского ока, их обвинили в антисоветской пропаганде. Благо, что не посадили...

Об этом времени рассказывает писатель в своем первом романе «Кто, если не ты?..» В нем он раскрывает романтические представления юных героев-правдоискателей, нравственные и идейные искания которых задыхаются в гнетущей атмосфере сталинского режима.

После окончания школы Юрия лишают заслуженной им серебряной медали. Он уезжает учиться в далекий Вологодский пединститут, где пробует себя на литературном поприще – пишет первые рассказы. Уже работая учителем-словесником в Мурманской области, укрепляется в своем призвании стать писателем.

Ю. Герта призывают в армию. Его желание писать становится настолько сильным, что свою первую повесть «Преодоление» он написал и опубликовал во время службы на Кольском полуострове... Ее название говорит само за себя. Можно только представить себе, сколько сил и энергии нужно было найти молодому солдату, чтобы по ночам, в неотопливаемой Ленинской комнате, вместо отдыха описывать свою армейскую жизнь. Искать и находить ответы на многочисленные вопросы, рассуждать о верности долгу, о том, что сложнее: подчиниться или самому отдавать приказы...

Начинающий автор тогда еще не знал, что название – «Преодоление» – предопределил и его дальнейшую писательскую судьбу. Почти все произведения Ю. Герта подвергались жесточайшей цензуре, шельмованию в прессе, годами дожидались своей публикации. Например, сатирическая повесть «Лгунья», пролежавшая в столе более пятнадцати лет... Потому что были они связаны с самыми неудобными и острыми проблемами общества: отношением личности и государства, свободой совести и угнетением человека.

В 1957 году Ю. Герт с женой уезжают в Казахстан и остаются там на долгие годы. Ему нравится эта земля, ее люди, знакомство с которыми обогатило опыт писателя. Тут родились его дочь и внук. Продолжалась активная творческая деятельность. Сначала он сотрудничал с местной молодежной газетой в Караганде, а затем перешел на работу в алма-атинский «Простор», где со временем стал заведовать отделом прозы этого журнала. Именно в казахстанский период жизни идет становление его писательского таланта и признание читателей. Выходят из печати сборники рассказов и повестей «Первое апреля», «Солнце и кошка», «Листья и камни», романы «Ночь предопределений», «Приговор», книга публицистики «Раскрепощение» и другие.

Приход Ю. Герта в «Простор» в 1964 году совпал со звездной порой этого органа Союза писателей Казахстана. Возглавлял его в ту пору замечательный писатель Иван Шухов, в свое время отмеченный еще М. Горьким. Именно Шухов заметил и пригласил начинающего литератора в свой журнал, напечатав в сокращенном варианте его роман «Кто, если не ты?..»

Много лет спустя Ю. Герт напишет в своей книге «Семейный архив»: «В те годы, при Шухове, «Простор» был для нас чем-то вроде «островка свободы» среди океана всяческой грязи и пакости...»

Действительно, журнал привлекал к себе внимание тем, что на его страницах впервые появились запрещенные ранее к публикации стихи А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, неизвестные произведения А. Платонова и Б. Пастернака, материалы по булгаковедению. Публиковались произведения и талантливых местных авторов: Олжаса Сулейменова, Г. Мусрепова, Мориса Симашко...

Юрий Герт переводил на русский язык романы казахских и уйгурских писателей: «Прикрой своим щитом» И. Есенберлина, «Маимхан» З. Самади и других.

В конце 80-х годов тираж журнала поднялся с 50 до 160 тысяч экземпляров. А по популярности в СССР он уступал разве что «Новому миру» А. Твардовского.

В 1987 году в журнал прислали очерк Марины Цветаевой «Вольный проезд», носивший откровенно антисемитский характер. По всей стране в это время продолжалась «перестройка», которая не только принесла распад прежних идеалов и ценностей, но и сопровождалась мощным всплеском националистических настроений.

Изменился состав редколлегии журнала, главным редактором которого оказался бывший номенклатурный работник, газетчик Геннадий Толмачев. Он принимает решение печатать этот очерк. В обход заведующего отделом прозы, которого поставили в известность последним, после того как все остальные сотрудники журнала прочитали и одобрили материал. Вот как рассказывает об этом вдова писателя Анна Герт в одном из интервью: «...Ю. Герт был хорошо знаком с творчеством Марины Цветаевой, ее трагической судьбой и страшным финалом. Безоглядная прямота и жизнь, полная страданий, делали ее в его глазах почти святой. Тем не менее он был категорически против публикации этого очерка, в котором евреи, в угоду широко распространенным в Белом движении юдофобским стереотипам, изображались двоедушными, хищными и жестокими погубителями России». Как стало потом известно, публикации этого очерка в Париже в 1924 году в русском журнале «Современные записки» Марина Цветаева предпослала стихотворение «Еврейям», в котором она с «характерным цветаевским перехлестом» неожиданно и убежденно признается в любви всем еврейям:

В любом из вас – хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке.

Этого стихотворения в «Простор» никто не прислал и о его существовании широкий читатель узнал много позже.

Ю. Герт, проработавший в журнале двадцать три года, пользовался большим авторитетом и уважением не только среди коллег. Литературную жизнь Алма-Аты того времени невозможно было представить без него. Но позицию, которую он настойчиво разъяснял своим сотрудникам, не принял и не поддержал никто. Редактор же оправдывал свое решение наступившей свободой слова, раскрепощенностью любых взглядов, делая вид, что не понимает провокационности своего поступка.

Тогда Герт предпринял следующее. Он принес в кабинет шефа свой рассказ «А ты поплачь, поплачь...» и предложил напечатать его рядом с очерком Цветаевой. Повествование в нем идет от лица мальчика, который во время эвакуации сталкивается со страшными проявлениями антисемитизма. Жуткое и пронзительное, оно являлось частью биографии самого Юрия. Сила, с которой был написан рассказ, не просто задела Толмачева, но и показала истинное отношение этого редактора к евреям. Прочитав его при авторе, он решительно сказал: «Никогда! Вы слышите, никогда я не напечатаю его!»

На самом деле, публикация очерка не преследовала литературной цели, а должна была поставить журнал в один ряд с «Нашим современником» и другими черносотенными изданиями, которые включились в грязную антисемитскую кампанию, развязанную обществом «Память».

В знак протеста Ю. Герт навсегда покинул журнал, а в самой редакции произошел раскол. Вчерашние друзья стали противниками, врагами.

Позднее эта ситуация в прессе преподносилась как некий локальный конфликт или сравнивалась с расколом в журнале «Современник». В нем более ста лет тому назад спорили о

назначении искусства, выражали разные взгляды на будущее России, но тогда еще никому не приходило в голову обвинять во всех бедах инородцев...

Сам конфликт, возникший на фоне грандиозных потрясений общественной жизни, вошел в новую книгу писателя «Эллины и иудеи». Трудно определить ее жанр, потому что это не роман, а личная исповедь. Это и лирико-философское эссе с цитатами из Талмуда и параграфами Нюрнбергских законов, с круговоротом идей от Чаадаева до Сахарова. Написанная голосом совести, книга противостоит не только юдофобии, но и крайнему национализму. В то же время она проникнута традиционным духом еврейского гуманизма, а в «Предисловии» к ней выделена одна из главных ее мыслей о том, «...что вопреки всему мир един и не делится на эллинов и иудеев...»

Книга вышла в России уже после эмиграции Юрия Герта в США. В 1992 году, переехав с семьей в Кливленд, штат Огайо, он продолжил свою литературную деятельность. Вышли новые книги «Северное сияние», «Лазарь и Вера», его печатали в русскоязычной американской прессе.

В эти годы с особой силой проявляется публицистический дар писателя. Статьи «Анти-семитизм... с «человеческим лицом», «Тень фашизма», «Открытое письмо Владлену Берденникову» до сих пор не потеряли своей актуальности.

Острой болью в статье «Чувство собственного достоинства» звучит такое признание автора: «Ты квартирант в нашем доме», – было сказано мне. А я всю жизнь полагал, что дом этот – наш общий... Согласиться... признать, что у себя, на своей родине я – не свой... Это было для меня чем-то вроде душевной катастрофы. И теперь, в Америке, мне хочется, чтобы моя дочь, мой внук, все мы чувствовали себя не только американцами, но и евреями, не дожидаясь, пока кто-то на это укажет...»

А ведь там, на нашей бывшей родине, продолжает культивироваться образ еврея-жулика, мафиози, паразита, приспособленца, торгаша, спаивающего русский народ...

И прикладывают к этому руку не только фашиствующие издания, которых наплодилось огромное количество. Последний роман Юрия Герта «Семейный архив» дает достойный ответ всем пасквилянтам. В нем идет речь о невыдуманной истории простой еврейской семьи, начиная от преддверия двадцатого века и до его конца. О шести ее поколениях, которые честно трудились, а когда было необходимо – не жалели своих жизней ради блага страны, которую считали своей...

Они отдавали ей свои силы и знания, преданность и любовь, как и сам автор этой замечательной книги...

28 июня 2003 года ушел из жизни Юрий Герт.

29 лет пролежал до своей публикации его рассказ «А ты поплачь, поплачь...»

Кто может объяснить эту магию цифр?.. Но магия притяжения творчества Юрия Герта вполне объяснима. Его литературное наследие созвучно нам своими темами, мыслями, образами и будет волновать еще не одно поколение читателей. Потому что пером писателя всегда водила чуткая, ранимая, а оттого и беспокойная совесть человека, талант которого целиком был отдан людям.

Один язычник пришел к рабби Гиллелю и сказал: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге, и я приму иудаизм».

Рабби Гиллель ответил: «Не делай другому того, чего не хочешь себе. Все остальное – комментарий к этому». Силур. «Поучения отцов».

Александр Шапиро

Эллины и иудеи

Современные вариации на библейскую тему

*Один язычник пришел к рабби Гиллелю и сказал:
«Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге, и я приму
иудаизм».*

*Рабби Гиллель ответил: «Не делай другому того, чего не хочешь
себе».*

Все остальное – комментарий к этому.

Сидур. «Поучения отцов»

Предисловие

«Эллины и иудеи» – это книга о том, как человек познает самого себя...

Это не роман, не плод авторского воображения. Это книга-документ, книга-репортаж, где все достоверно – от первой до последней строки. В ней нет сочиненных ситуаций и лиц – все пережито автором, происходило на его глазах.

...В провинциальный литературный журнал прислан сенсационный материал, принадлежащий перу известной поэтессы, трагически погибшей в начале сороковых годов. Готовится публикация, которая преследует отнюдь не литературную цель, а должна сделать журнал участником разнузданной антисемитской кампании, развязанной в годы перестройки «Памятью», «Нашим современником», десятками черносотенных газетенок.

В редакции происходит раскол. Вчерашние товарищи становятся противниками, друзья – врагами. Конфликт перерастает редакционные рамки, захватывает литераторов, журналистов, читателей, в него включаются различные инстанции, представители властей... Рассказ о немногих людях, решившихся на протест против антисемитской акции, превращается в широкую панораму жизни взбудораженной небывалыми переменами страны, когда утративший прежние позиции истеблишмент рвется к реваншу, стравливая нации, апеллируя к «голосу крови», обвиняя во всех бедах инородцев, спасти от которых страну может лишь новый фюрер...

«Эллины и иудеи» – своего рода лирико-философское эссе с контрастными экскурсами в прошлое, в историю России, в круговорот идей, бурлящих в ней уже два века – от Чаадаева до Солженицына и Сахарова, от классиков-славянофилов до «Протоколов сионских мудрецов». В авторские размышления вплетаются тексты из Талмуда и параграфы Нюрнбергских законов, отрывки из статей Владимира Соловьева и цитаты из писаний нынешних юдофобов.

И, тем не менее, «Эллины и иудеи» не сконцентрированы на судьбе одного еврейства. Национальные страсти захлестывают мир, колеблют землю – будь то Америка или Европа, Ближний Восток или Кавказ. Можно с известной уверенностью полагать, что мир не погибнет от ядерной катастрофы, поскольку человечество в этой области выработало некоторые паллиативы, но пока оно не придумало средств спасения от ксенофобии, взаимного ожесточения, дымной, заволакивающей разум ненависти. Всем этим пользуются те, кто жаждет разделять, чтобы властвовать. Однако люди видят друг в друге злобного, коварного врага только до тех пор, пока они ничего или очень мало знают друг о друге, пока их сознание сковано кандалами стереотипов. «Не делай другому того, чего не хочешь себе», – говорили еврейские мудрецы. Об этом – «Эллины и иудеи»: о том, чтобы увидеть в «другом» прежде всего подобного себе человека...

«Эллины и иудеи» – это глубоко личная книга, книга-исповедь. В ней писатель рассказывает о себе, о своей семье, о людях, которые ему близки, и о тех, чьи убеждения ему враждебны. А главное – о том, что вопреки всему мир един и не делится на эллинов и иудеев... Быть может, последняя мысль и явилась причиной того, почему эта книга до сих пор не была издана в России. Хотя в куда более трудные для свободного слова времена ее автором были опубликованы – правда, в изувеченном цензурой виде – десять книг, среди них романы «Кто, если не ты?..», «Лабиринт», «Ночь предопределений», «Приговор».

От автора

Известно, что книги, как люди, имеют свою судьбу.

Эта книга – тоже.

Я закончил ее в 1990 году. О том, чтобы обратиться с нею в государственное издательство, не могло быть и речи. В Алма-Ате, где я жил тогда, в то время начинали создаваться частные издательства, и я отнес рукопись – еще тепленькую – в одно из них.

Издатель взялся ее напечатать, присовокупив при этом, что ему все равно, какого рода выпускать литературу – антисемитскую или наоборот... Была бы прибыль, прочее его не интересует.

У меня имелись другие – возможно, несвоевременные – представления о порядочности, о бизнесе, я не хотел, чтобы эта книга попала в грязные руки.

В Москве, в самом тогда демократическом издательстве рукопись приняли с радостью, включили в план, но... напечатать не рискнули: набравшая силу «Память» и ее бравые сподвижники распространяли списки тех, с кем они вскоре намерены рассчитаться. Мне показали список, в котором значилась фамилия моего предполагаемого редактора.

Находясь в эмиграции, я попытался связаться с издателями в Нью-Йорке, уж там-то, в демократическом государстве, страшиться некого... Мне сказали: о'кей, книгу Вашу мы издадим, но Вы должны за это заплатить...

Платить мне было нечем.

Рукопись пролежала без движения шесть лет.

И вдруг, когда я уже не чаял увидеть ее напечатанной, появилась надежда... Надежда ее издать, не меняя ни строчки. И где же?... В России. То есть там, где сумеют ее прочесть – русские, евреи, казахи, все, для кого она предназначалась...

Надо ли говорить, как я был рад?..

Но радость моя вскоре сменилась сомнениями. За эти годы в России, в Казахстане, во всем мире многое успело перемениться. Переменился и читатель, которого я видел перед собой, когда писал. Не устарела ли моя книга, не умерла ли, так и не родившись?..

Но изменился не только мир, кое-что изменилось и во мне самом. Переместившись из одного полушария в другое, я физически ощутил, какая она маленькая – наша Земля. И понял, что повсюду на ней – если вникнуть – происходят одни и те же процессы: человеческое общение все больше вытесняется компьютерами, любовь – сексом, высокие, выверенные веками духовные ценности подменяются эрзацами, дешевкой, тем, что запросто можно сработать, купить, продать. Но главная, самая главная опасность – не в этом. Главная угроза миру – тупой, примитивный, агрессивный национализм.

Он существует везде. Раньше я полагал, что «Память» и прочая нечисть – признак болезни, гниения государственного организма, своеобразный трупный яд... Но что же в процветающих, цивилизованных странах?... В соответствии с признанными нормами общественной морали в Америке стыдно, неприлично быть антисемитом. Однако здесь, в стране Лютера Кинга, вместе с которым плечом к плечу американские евреи отстаивали гражданские права негров, спустя какие-то тридцать лет один из черных лидеров, Фаррахан, выступая перед широкой аудиторией, постоянно твердит, что не кто иной, как евреи – самые злые враги негров, это они были причиной рабства в Соединенных Штатах. В благословенной Канаде высокоученые интеллектуалы усердно пересчитывают еврейские могилы, чтобы доказать, что в Холокост погибли не шесть, а всего лишь какие-нибудь пять миллионов, а то и меньше. Во Франции и Германии на еврейских памятниках малюют свастики. Многократно признанные фальшивкой «Протоколы сионских мудрецов» продолжают издаваться на разных языках, в разных странах наряду с «Майн кампф»...

В Иерусалиме, на центральной улице, я видел окна без стекол, черные подпалины на стенах, развороченный балкон... Я ежедневно садился в автобус по маршруту № 18 – тому самому, на котором незадолго до того прогремели взрывы, фонтаны крови выплеснулись наружу, окропили прохожих, залили асфальт... Честно признаться, за две недели пребывания в Израиле не меньшее впечатление, чем дорогие каждому еврейскому сердцу святыни, произвели на меня ребята и девушки в военной форме, с автоматами и вещмешками... Студенческого возраста, сочетавшие в своем облике свойственные юности силу и хрупкость... Их можно встретить в любом городе и городке, в любом месте – на улице, в кино, в музее, в кафе, готовых в любую минуту вернуться к себе в часть, на боевые позиции. Чего они хотят?.. – думалось мне, глядя на них. – Кто им угрожает?.. Они хотят одного: чтобы их судьба и судьба их будущих детей не повторила судьбы их дедов и бабок, чтобы их не швыряли в Бабий Яр, не травили «циклоном-20», чтобы, умоляя о пристанище, не плыли они на судах, встречая холодный отказ во всех странах. Малый лоскуток земли хотят иметь они, чтобы на нем жить, растить детей, и чтобы никто не плевал им в лицо словом «жид», не грозил геноцидом. После двух тысяч лет изгнания – не так-то уж и много, не правда ли?..

Но разве дело только в антисемитизме?.. А Казахстан, с которым связано 35 лет моей жизни?.. Там родились моя дочь, мой внук, там вышла моя первая книга... Но разве русские («имперская нация!»), которые и раньше в этой республике считались людьми второго сорта (третьими были евреи), не дискриминируются там теперь еще откровенней, чем прежде? А Эстония, а Латвия, кичащиеся своей культурой, причастностью к западному миру?.. А Таджикистан, горы трупов, гражданская война, идущая там уже не один год?.. А Чечня, кровавая рана, боль и позор России?.. Любая ксенофобия жестоко мстит за себя. Вчерашние гонители сегодня становятся гонимыми. Камень, брошенный в другого, вернется и рикошетом ударит тебя. Таков закон – нравственный закон, столь же реальный и всеобщий, как закон всемирного тяготения.

А Босния? Афганистан? Заир? А иракские курды?.. А расовая проблема, которую всеми силами стараются разрешить в Америке?..

Национализм. Как понять, когда естественные для каждого из нас уважение к предкам, любовь к истории своего народа, бережное отношение к его традициям переходят в пренебрежение, враждебность, ожесточенность, вплоть до смертельной ненависти – к тем, у кого иная кожа, иной язык, иная, зачастую столь же нелегкая, жизнь позади?..

Фашизм – крайняя форма национализма, расизма.

Казалось бы, просто как дважды два... Но если отбросить банальное представление о фашизме как о патологии, ненормальности в области человеческой психики, то – когда, как, в каких обстоятельствах человек становится фашистом?..

«Мужчины мучили детей», – писал Наум Коржавин в стихотворении «Дети в Освенциме». Можно уточнить: мужчины мучили детей другой расы, крови... Недавние обстоятельные исследования американских ученых показали, что в войсках СС, как правило, служили физически и психически вполне здоровые люди, выходцы из благополучных семей, не травмированные в детстве никакими уродующими нервную систему переживаниями. У них было хорошее – в основном среднее – образование, налаженный семейный быт, полноценное потомство. И, однако, эти, именно эти мужчины «мучили детей», пытали, насиловали, убивали – с наслаждением, фиксируя фотоаппаратом страдания своих жертв.

Как он рождается, «обыкновенный фашизм»?.. Чем он кончается – с этим все ясно. С чего начинается он – вот в чем вопрос...

Но не об этом ли – «Эллины и иудеи»?..

Не на этот ли вопрос пытаюсь я ответить, точнее – не ответить, а попросту изложить факты, ничего не утаивая, не приукрашивая, не додумывая?..

Если бы, если бы моя книга и вправду устарела!..

Но я оглядываюсь вокруг и убеждаюсь, что – нет...

*Юрий Герт
Кливленд, Огайо, США
октябрь 1996 года*

Шереметьево-2

...и вот мы с женой прилетели в Москву и приехали в Шереметьево, чтобы проститься.

Был август, раннее утро, небо сияло свежей, прохладной лазурью, полуденный зной еще не успел ее замутить. Стекло аэропорта блестело, било в глаза отраженным солнцем, огнистые зайчики скакали по лакированным крыльям, по дверцам то и дело подкатывающих автомашин. Стоя поблизости от входа, мы вглядывались в каждую. В одной из них должна приехать наша дочь. Щелкнет замочек, распахнется разрисованная шашечками дверца – и мы увидим, как они выходят – дочка с мужем и маленьким нашим внучком Сашенькой. Они уезжают... Они уезжают в Штаты, по вызову, присланному из Израиля. Мы увидим всех троих в последний раз и простимся с ними навсегда.

Такси... И еще такси... И еще... Мы молчим, и ждем, и не смотрим друг на друга. И каждая новая машина, выходящие из нее люди вызывают короткий вздох облегчения: не они... Еще не они... Я боюсь поднять глаза на жену, встретиться с ней взглядом. Тридцать лет, даже больше прожили мы с нею бок о бок, и, как у всех, случалось нам пережить и горькое, и тяжелое, и страшное, но у меня всегда находилось, что ей сказать. Чем облегчить, ободрить, утешить ее – друга, жену, мать, бабушку... Впервые нет у меня слов. Они вымерзли в моей душе. Засохли. Сгорели, превратились в пепел, сладострастно растертый, втоптаный в землю чьим-то каблуком...

У меня нет слов. И глядя на светлое, сияющее небо, на тормозящие у входа в аэропорт машины, на пестро, по-дорожному одетых людей, я ловлю себя на чувстве, что вот-вот сон оборвется, я проснусь – и спустя несколько минут ключья ночного кошмара подхватит и унесет, развеет упругий ветер живой, привычной жизни. Все вернется на прежние, устойчивые места...

Ну да, а как же иначе?.. Ведь это в прошлые, теперь уже такие далекие годы, отравленные углекислотой застоя, отсюда, из этого аэропорта, уезжали, улетали, уходили – казалось, в пустоту, в небытие – Александр Галич, Наум Коржавин, Марк Поповский. В той или иной мере я знаком был с каждым из них, встречался с ними – в Караганде, Алма-Ате или Москве, у меня и сейчас хранятся их письма. И хотя, пребывая в своем прекрасном, хорошо закупоренном алма-атинском далеке, я не участвовал в их проводах, каждое известие об этих проводах, шепотом и с оглядкой достигая наших краев, кинжальным ударом вонзалось в сердце. Отсюда уезжал Виктор Некрасов, который для меня в те годы был – и остался навсегда – эталоном мужества и чести. Где-то здесь, на летном поле, тайком, под охраной, привезли и затолкали в самолет великого, величайшего из всех эзков – Александра Исаевича Солженицына... Да ведь когда это было!..

И с тех пор немало – ах, немало! – моих братьев и сестер, единокровных моих родственничков, которых я и в глаза не видывал и к которым ни малейшей симпатии не испытывал, проходили здесь, увлакивая через эти Врата Свободы свои набитые барахлом тюки и тючки, жалкое, нищее свое шмотье, поскольку – думал я – всякое шмотье покажется жалким и нищим в сравнении с Родиной, которой, как известно, не унести на подошвах башмаков... Дезертирами они были для меня, оставляющими всех нас в окопной тоске и грязи, бегущими с наших кровавых полей, где по-прежнему летят и жалят смертельные пули, выпущенные из стволов с глушителями новейших образцов, и гниют, разлагаются заживо души, и рыдают, бьются в истерике психушки, в изошренную эру НТР заменившие примитивные, обнесенные колючей проволокой лагеря...

Или это – возмездие за мое недавнее высокомерие?.. То, что теперь мы с женой провожаем нашу единственную дочь, нашего малыша, единственного нашего внука? И остаемся – со всеми, но – одни, одни?.. Но как же так, люди добрые, как же так?.. – хочется сказать мне. –

Ведь у нас уже четыре года как перестройка?.. И «Покаяние» Абуладзе – разве не прошел этот фильм по всем экранам, разве не увидели его миллионы людей?.. И не прокатилась, не продолжает катиться волна реабилитаций, вынося на изломанный берег нашей истории такие имена, которые прокляты были во веки веков, перечеркнуты, признаны как бы никогда не существовавшими? Разве не объявлено перед всем миром, что величайшим злодейством было – выносить приговор целым народам, то есть подвергать репрессиям, наряду с мужчинами, сосущих соску младенцев, беременных женщин, беспомощных стариков?.. Или то, что коснулось немцев и крымских татар, калмыков и корейцев, никак не относится к нам, евреям?..

Так ведь нет же, – говорю я себе, а сам смотрю, смотрю туда, куда смотрит моя жена: вот подруливает еще одна машина, и меня одновременно – я не думал, что так бывает, – прохватывает ледяным сквозняком и обжигает каленым железом... Но слава богу – нет, не они... Еще не они... Так о чем я?.. Да, – говорю я себе, – о «деле врачей» тоже немало написано... И о Еврейском антифашистском комитете, о расстрелянных Переце Маркише, Фефере, Квитко... О Михоэлсе... И не далее, чем год назад, в Москве, не на дальних выселках, не в Малаховке где-то, а в самом центре столицы слышалось многократное, многоголосое «Лехаим!» и люди в долгополых черных лапсердаках и с пейсами, веселясь, отплясывали «Фрейлэхс»... Мы с женой сами это видели, слышали, сидя в партере театра оперетты, на премьере спектакля «Скрипач на крыше» по «Тевье-молочнику»... Да, всего лишь – оперетта, но все же, все же... И разве еще не так давно можно было представить, что ЦТ покажет «Тевье-молочника» с Михаилом Ульяновым в главной роли?.. А недавно созданный Еврейский культурный центр – в Москве?.. И в нашей Алма-Ате?..

Так отчего же?..

Какое синее, праздничное небо – чистое, без единой тучки... Курчавые белозубые негры с негритянками и негритятами, выйдя из длинной, распластанной над землей автомашины неизвестной мне марки, двинутся по тротуару, издали похожие на черную виноградную гроздь...

Радио с небольшими промежутками объявляет о начале или продолжении регистрации билетов... Рейсы на Прагу... Париж... Вену...

На Вену... Я замечаю, как это слово сразу насторожило несколько человек – из тех, что стояли поблизости или шли по площади... Словно кто-то дернул за узелок, в котором сходились разбегающиеся во все стороны нити: кто-то вздрогнул, оборвав разговор, кто-то беспокойным взглядом потянулся к часам, у кого-то вдруг деревянным, безжизненным сделалось лицо, иные, стоявшие кучкой, как бы сдвинулись, приникли друг к другу...

Вена... Венский вальс... Венская – довоенная – сдоба... Шницель по-венски... Что еще?.. Моцарт. Бетховен... Нет, не то...

Наши ребята летят в Вену. Москва – Вена – первый отрезок, начало пути.

Вена.

Vien...

Пропади она пропадом, провались она в тартарары – эта Вена, с ее вальсами, шницелем и сдобой! С ее Моцартом и Бетховеном!..

Кто бы мог подумать!..

Но – сам-то я что думаю, что говорю?..

– Почему они не едут?.. – не выдерживает жена. У нее белые губы, белое лицо. У нее одрябшие за ночь, исполосованные морщинами щеки.

Откуда мне знать, почему они не едут?

А почему они должны ехать?

Почему?..

Разве это не их земля, не их Родина?..

Разве дед нашей Мариши, мой отец, не погиб в 1941-м, защищая эту землю? Разве ее прадеды не были николаевскими солдатами, защищавшими Севастополь – в ту, предварившую отмену крепостного права войну? Разве мало в нашей семье было расстрелянных или отсидевших в наших родных ЛАГАХ – и вернувшихся, и похороненных без погребенья неизвестно где?.. Это о «корнях». А о нынешнем?.. Кто ждет их – «там»?.. Не то что дядюшка-миллионер или хотя бы тетушка – владелица кафе или табачной лавки: нет у них там ни единой родной души. И все их имущество, все богатство, с которым направляются они за океан, уместилось в четыре чемодана. Четыре – на троих... Здесь остаются их друзья, книги, привычки, какой-никакой уют – и тридцать лет прожитой жизни. Почему они должны ехать?..

И ехать – сейчас?..

Что за чушь? Что за бред?..

У меня развинченное воображение. Развинченное, развращенное сочинением сюжетов, сцен, пейзажей, необходимых для писания романов и рассказов. Оно, мое нещадно эксплуатируемое воображение, как хорошо смазанный, сильной рукой запущенный маховик, работает и в то время, когда это никому не нужно. Работает вхолостую. И вместо аэропорта, сверкающего стеклом, вместо летящих по асфальту вереницей машин, таксомоторов и частных, вместо баулов и сумок с надписью «АДИДАС», вместо спортивных девушек в кроссовках и джинсах, вместо прущих напролом туристов, вместо затихших на материнской груди детей, вместо хамоватых деляг, вращающих вокруг пальца на блестящем брелочке ключ от зажигания поджидающей клиентов машины, вместо всего этого я вижу серый, мягкий, рассыпающийся под ногой песок, вижу ободранных, словно изъеденных молью верблюдов и понурых, покорно ступающих осликов, детей и жен, белобородых старцев, сухие тела, обтянутые коричневой от египетского солнца кожей, – и желтые барханы впереди – горькую, бесконечную дорогу в пустыне Исхода... Сколько – три или четыре тысячи лет этой дороге, этой тропе?.. Величайшая из легенд, сложенных людьми, легенда об избавлении от рабства... Легенда или реальность, длящаяся столько веков?..

Не верю.

Не хочу.

Не могу поверить...

...между тем в нескольких шагах от нас останавливается «москвич». Глаза устали вглядываться. Я не сразу сознаю, что на сей раз это они – наши непослушные, наши своевольные, наши жестокие, наши единственные, наши любимые, покидающие нас дети... Наши дети. Вот они выходят из машины. Миша, которого мы знаем с двенадцати лет, с нечаянной встречи во время прогулки на Медео. Было золотое алма-атинское бабье лето, темная зелень гор, горячий, зыбющийся воздух над лентой сверкающего под ярким солнцем шоссе... Они шли рядом, неловко, церемонно беседуя, Миша и Мариша, как это водится при первом знакомстве в двенадцать лет. Шли по каменистой, заросшей кустарником обочине вдоль дороги, а мы с женой и родители Миши, посмеиваясь, шли и наблюдали за ними сзади. Если бы знать, куда приведет та дорога...

Он невысок ростом, но хорошо сложен, плечист, с черной вальяжной бородкой на красивом точеном лице, карие глаза покраснели после бессонной ночи, проведенной в таможене на сдаче багажа. На нем расписанная латинскими буквами майка, привезенная как-то нами с курорта, сумка, болтающаяся на боку, дипломат в руке... Рядом – наша Мариша – миниатюрная, с гривой черных, захлестнувших плечи волос, по-детски широким овалом лица, серыми, с голубинкой, глазами – такие были у моей матери, у моего деда... Она тоненькая, как говорится – «и в чем душа держится», на ней желтая, как яичный желток, кофточка, над вырезом проступают косточки-ключицы... Она ведет за руку Сашеньку, нашего внука. На нем смешной, сшитый в дорогу костюмчик, слишком просторный для малыша: курточка с широченными плечами, брючки со штанинами до земли... Он солидно, размашисто шагает, у него серьезная,

ответственная мордочка – светлая шелковистая челочка на выпуклом лобике, светлые, как у матери, глазки, курносо вздернутый носик... Все как у всех. Он не бежит, не бросается нам навстречу. Со стороны это кажется «взрослостью», продиктованной новым – «взрослым» – костюмчиком и смутно ощущаемой важностью момента. Если бы так... Бледное личико, синеватая тень под глазами, сиреневый оттенок ногтей... Он не бегаёт, как положено детям. У него врожденный порок сердца – «тетрада фалло». Сложный, да еще и атипичный порок, который у нас в Москве, в институте Бакулева не берутся оперировать. Говорят, такие операции делают «там»... И это – причина, по которой я молчал, когда Миша и Мариша сказали, что намерены ехать. Другое дело, что на их решение мало повлияли бы любые мои слова... Однако я их не произнес...

Все так не просто...

И теперь они уезжают...

Сотни, тысячи людей уезжают, и у каждого – свои причины, своя судьба, тут нельзя ни одобрять, ни осуждать огулом.

Алма-Ата – Vien. Тирасполь – Массачусетс. Одесса – Лос-Анджелес...

Мишины родители – с нами рядом. Они растеряны не меньше нашего, но стараются держаться. Все мы стараемся держаться...

Мы идем с Сашенькой, я сжимаю – осторожно и крепко – его кулачок. Я хочу, чтобы моя ладонь запомнила – его форму, его упругую хрупкость, его тепло. За плечами у Сашеньки – маленький, специально сшитый рюкзачок. С ним было немало хлопот, но теперь он очень гордится своим рюкзачком. Будь мне столько же, сколько ему – четыре года, – я испытывал бы то же самое. Но сейчас я смотрю на этот рюкзачок, на пристегнутый к слабой детской спинке горбик – и пламя стыда охватывает мое сердце. Стыда и отчаяния... Это не рюкзачок для игры или воскресных прогулок – это Сума Изгнания, вот что это такое...

Меня пронизывает, простреливает эта мысль – и горячая горечь обжигает мои глаза, а вторая – свободная – рука сжимается в кулак...

Кто мы? Откуда? Куда идем?.

*Брось свои шносканья
И гипотезы святые.
На проклятые вопросы
Дай ответы мне прямые...*

Генрих Гейне

1

Когда и как началась наша Вселенная, когда и как?..

Этого мы не знаем: среди множества гипотез – ни одной достоверной.

А когда и как возникла Жизнь на Земле?..

И это нам неизвестно.

Каждому из нас известно только одно: число, месяц и год, когда сам он родился. Известно в точности.

О себе я могу сказать, что я родился 7 февраля 1931 года...

Когда и что было началом Холокоста – Катастрофы европейского еврейства?..

Первое Вавилонское пленение – акция, проведенная Навуходоносором почти три тысячи лет назад? Крестовые походы, обогрившие земли Европы еврейской кровью в XI веке? Кишиневский погром? «Хрустальная ночь», учиненная Адольфом Гитлером в 1938-м? Что было началом, за которым следовали – Бабий Яр, Освенцим, «дело врачей»?..

Разве горный обвал – камнепад, грохот, содроганье земли, удары глыбы о глыбу, скалы о скалу, завалы, перегораживающие горные долины, погребаящие ревущим, неудержимым, всесокрушающим потоком и крохотные селенья, и многолюдные, многотысячные города, – разве они начинаются не с тихого, едва слышного шороха? Не с короткого щелчка – кремень о кремень – где-то там, на вершине горы? Не с легкой, шелестящей осыпи?..

Граница... Рождение... Начало...

Не знаю —

как,

для кого,

когда...

Для меня это был один из дней в середине декабря 1987 года.

С него-то и начался новый отсчет в моей жизни.

Здесь, в этой точке, она переломилась, распалась – на «до» и «после».

Произошло это так.

2

После планерки я задержался в кабинете главного редактора. Была обычная планерка, с обычными разговорами – что и почему выпало из прошлого номера, что должно войти в следующий. Завы сдали заявки отделов, ответственный секретарь попрекнул кое-кого за нарушение сроков, кто-то кого-то слегка подколол, пожурил – скорее всего так, для общего оживляжа... Дела в журнале шли неплохо. Несмотря на шквал публикаций в центре, нам удавалось держаться на поверхности, даже увеличивать и без того немалый для провинции тираж. Так

что редакция, хоть за последнее время она и сменила отчасти свой состав, продолжала по старой традиции ощущать себя единой семьей, в которой если и случаются ссоры, то недолгие, а в общем-то все привыкли друг к другу, притерлись, у каждого свое место, на которое никто не покушается, и все полны взаимопонимания и готовности в любую минуту помочь и поддержать друг друга. По крайней мере, так мне казалось.

И когда несколько человек, в том числе и я, после планерки задержались на пару минут в кабинете у Толмачева и он сказал мне:

– А ты не читал?.. – и обратился к кому-то: – Дайте и Герту прочесть, как члену редколлегии, пусть скажет свое мнение... – в этом не было ничего особенного. На планерке я уже слышал, что получен какой-то материал, связанный с Мариной Цветаевой, и что надо бы скорее поставить его в номер. Шел он, естественно, по отделу поэзии, я заведовал прозой, но если надо – почему не прочесть, да еще и Марину Цветаеву?..

– Тем более, – усмехнулся ответсекретарь редакции Петров, – что это кое в чем и по еврейской части... – Усмешка у него была дружелюбная, он всегда улыбался мне дружелюбно, мы работали вместе более двадцати лет, если точно – то двадцать три года – и, вместе со всей редакцией, хлебнули за это время всякого... А если порой подшучивали друг над другом, то всегда дружелюбно, не зло.

– Ну, если так, конечно, – сказал я, не подавая вида, что меня слегка корябнула его шутка, сам не знаю отчего. – Без такого эксперта по еврейским проблемам, как я, никому не обойтись...

Мое «еврейство» всегда было для меня понятием условным. Хорош еврей, не знающий ни языка, ни обычаев, из еврейской литературы читавший только Шолом-Алейхема, да и не очень представляющий – существует ли она, еврейская литература... В самом деле – эксперт!

Петров протянул мне рукопись – и довольно объемистую, тридцать две страницы на машинке, как заметил я, заглянув в конец.

– Ого! – сказал я без всякого пафоса, представив себе комнатушку, где помещался наш отдел прозы: четыре стола, стоящих впритык, груды громоздящихся всюду рукописей, непрерывный ручеек авторов, посетителей, втекающий из коридора в нашу дверь и – бочком, бочком, между столами – журчащий по направлению к моему столу...

– Не знаю, смогу ли прочесть в редакции, – обратился я к Толмачеву. – Если это не сверхсрочно, возьму домой, завтра принесу.

Толмачев согласится.

– Планируем Цветаеву на третий номер, – сказал он. – Все ребята уже прочитали.

Редкий день я уходил из редакции, не набив рукописями свой дипломат. В тот вечер изрядная их порция ожидала меня дома.

– Что ж, прочитали так прочитали, – сказал я. – К чему мне читать – для проформы? Или ты думаешь, я возражать буду?..

– Ну, все-таки, – сказал Толмачев. – Ты же член редколлегии... Прочти. Тут надо подумать: сокращать – не сокращать...

– Цветаеву – сокращать?..

– Ну, – сказал Толмачев, – я тебя прошу. Прочти. После поговорим.

Вокруг в нетерпении толпились, тянулись к нему с вопросами – каждый о своем...

Я вздохнул и вышел, на ходу просматривая первую страницу. В заголовке стояло: «Вольный проезд».

Марина Цветаева. Марина, Марина, Марина... Так зовут мою дочь, Я шел по нашему длинному полутемному коридору, чувствуя себя полнейшим подонком. После всего, что мне известно о Цветаевой, с кислой рожей принять в руки эти страницы, вместо того, чтобы возблагодарить всех богов на свете за то, что сподобился их читать?..

3

Помню начало «оттепели», самое-самое начало – и опять-таки не «вообще», а – для меня: как, с чего для меня началась та самая «оттепель»... Отслужив армию, я приехал на родину, в Астрахань, и как-то раз однажды, проходя по центру города, увидел в киоске странного вида издание: огромного размера – книгу не книгу, тетрадь не тетрадь, в синей бумажной обложке с множеством росписей-автографов и крупно начертанным названием «День поэзии»...

То был первый выпуск, появившийся в 1956 году и в январе пятьдесят седьмого добравшийся до Астрахани... Мороз без особого труда прогрыз мое легкое пальтецо, наброшенное поверх гимнастерки, впился клешнями в уши и кончик носа, а я все стоял посреди тротуара с раскрытым «Днем поэзии» в руках. Ледяной ветер свирепо рвал, раздувал, как паруса, просторные страницы, а я листал их, дивясь незнакомым именам. В армии было не до стихов, не до бурных перемен в литературе – и многое меня ошеломляло теперь...

Одним из таких ошеломлений была Цветаева. Что я слышал о ней раньше? Существовала когда-то в России такая поэтесса, да сбежала в эмиграцию от революции... Вот, пожалуй, и все. И вдруг в том самом «Дне», в сопровождении коротенького предисловия Ан. Тарасенкова, – ее стихи, ничуть не похожие на привычные, словно в расчете на неполную среднюю школу, чистописания Суркова или Щипачева:

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!..

О, черная гора.
Затмившая весь свет!
Пора – пора – пора —
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь выть...

Внизу стояла дата: 1939 год, май... Фашизм уже подмял Австрию, Испанию, когтил Чехословакию, считанные недели оставались до начала Второй мировой войны...

Вскоре мне попался тогда же, в 1956 году, изданный альманах «Литературная Москва» – второй том, с романом Каверина «Поиски и надежды», с «Рычагами» Яшина, статьями Марка Щеглова, Александра Крона... Здесь же была опубликована подборка стихов Марины Цветаевой с большой статьей Ильи Эренбурга: для меня Марину Цветаеву открыл именно он. И о ее самоубийстве написал впервые он – в «Дне поэзии» глухо, невнятно говорилось, что она умерла в Елабуге...

«Все меньше становится людей моего поколения, которые знали Марину Ивановну Цветаеву в зените ее поэтического сияния, – писал Эренбург. – Сейчас еще не время рассказывать об ее трудной жизни: она слишком близка к нам. Но мне хочется сказать, что Цветаева была

человеком большой совести, жила честно и благородно, почти всегда в нужде, пренебрегая внешними благами существования...»

«Театр на Таганке», без которого невозможно представить шестидесятые годы, начинался спектаклем «Добрый человек из Сезуана», в нем звучали песни на стихи Марины Цветаевой...

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит – разумеется, порядком потрепанный – «День поэзии», тот самый, и слегка пожелтелая (тридцать лет минуло!..) «Литературная Москва». Если порыться в боковом ящичке письменного стола, отыщется и программка «Доброго человека из Сезуана»: «Таганка» привозила спектакль в Алма-Ату. «Оттепель», Эренбург, «День поэзии», Марина Цветаева – все соединилось, связалось между собой, вросло в жизнь – моего поколения, мою... Вросло в жизнь. Перестало быть поэзией, историей, болью или радостью – стало и тем, и другим, и третьим: жизнью...

И вот...

4

И вот – как ни стараюсь я оттянуть этот момент... Он наступил.

Теперь, думая о нем, я вспоминаю, что уже в кабинете главного редактора что-то задело, царапнуло меня... Но, как зачастую в подобных случаях, я сказал себе: ну да стоит ли обращать внимание?... Глупости. Марина Цветаева – и что-то там «по еврейской части»?.. Какая связь?... Шутка. Не слишком удачная, но всего-навсего шутка...

И вот я принес домой рукопись и начал читать. И чем больше читал, тем больше терялся. Временами казалось, что ни Марина Цветаева, ни отпечатанные на машинке листочки с карандашными, острым грифельком сделанными пометками тут ни при чем, это у меня в голове что-то перепуталось и скособоилось...

– Послушай, – сказал я своей жене и стал читать вслух. Так часто бывает, четкий, вымуштрованный точными науками ум жены служит мне для самопроверки, обуздания излишних эмоций. Хотя, говоря правду, мы чаще спорим, расходимся друг с другом, чем соглашаемся. Но на этот раз, едва я прочел две-три страницы, она взмолилась:

– Не надо, не читай больше... Меня тошнит.

– Но мы еще не добрались до главного...

– Нет, прошу тебя...

Капризы, истерики, равно как и разного рода телячьи нежности, – не в ее характере. Как и притворство. Лицо ее побледнело, рука сжала горло, предупреждая спазм.

– Хорошо, – сказал я – не буду.

Мы оба в тот вечер были обескуражены, угнетены. В какой-то мере – тем, что прочли. Марина Цветаева была нашим кумиром. Ее честность, ее безоглядная прямота, ее страстность, трагический финал ее горемычной жизни, страдальческое начало в ее поэзии – все делало ее своей, нашей. И вдруг... Но мало ли какие обстоятельства, какие блуждания и срывы бывают пережиты даже гением... В конце концов, одинокая, маленькая, почти девочка, даром что при этом мать двоих детей, из рафинированного, романтического мира поэзии щепкой упавшая в бешеный водоворот революции. В то время, помимо всего, еще не было ни Майданека, ни Освенцима... Но сейчас... Кому и зачем нужно, чтобы это было напечатано сейчас!..

Этот вопрос обжигал куда сильнее.

Собственно, не «напечатано», а перепечатано. Мемуарный очерк Марины Цветаевой «Вольный проезд», по сути – отрывок из дневника, впервые напечатан был в Париже, в русском эмигрантском журнале «Современные записки» в 1924 году, как об этом говорилось в предварении к очерку. Под очерком дата: 1918-й год. Марина Цветаева рассказывала в нем о

том, как в сентябре голодного восемнадцатого года отправилась в Тульскую губернию выменивать муку, пшено и сало на мыло и ситец.

Она остановилась в доме, где жили красноармейцы-продотрядовцы, приехавшие из Петрограда, в частности – командир продотряда Иосиф Каплан («еврей со слитком золота на шее») и его жена («наичернущая евреечка, «обожаящая» золотые вещи и шелковые материи»). Идут реквизиции. Народ стонет, продотрядовцы разбойничают, выжимают из него последние соки. Реквизиторы – Каплан, Левит, Рузман, какой-то «грузин в красной черкеске» и др. Каплан («хам, коммунист с золотым слитком на шее») и его сотоварищи (в очерке – «опричники») хапают, грабят, гребут все подряд: «У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячами... А иной раз – просто петуха...» И еще: «Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото». Куда же, кому же все это?.. Вот кому: «Хозяйка над чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза». При этом двоедушный Каплан требует, чтобы жена вместо романов читала «Капитал» Маркса. Она вспоминает: «Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это нечистоplotно, могут волосы упасть в кастрюлю... У меня были очень важные заказчицы, я ведь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курительный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем нешуточные суммы... И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали...»

Далее сообщается, что «Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии» (слова жены) и мечтает сорвать колокола со всех сорока сороков московских церквей, чтобы перелить их в памятник Карлу Марксу.

Ужены Каплана главная страсть – золото: «А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает)... У меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю... Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку...»

Узнав, что Марина Цветаева оставила дома голодающих детей: «Она рассмешенная: – Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети – это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): – Для детей есть приюты. Дети – это собственность нашей социалистической Коммуны...»

Затем следует: «Мытье пола у хамки. – Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо. Разве у вас в Москве другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть полы, поясница болит. Вы, наверное, с детства привыкли? – молча глотаю слезы». Далее: «Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство».

О продотряд овцах: «С утра – на разбой... Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «Им удобно, и нам с Иосей полезно. Продукты – вольные, обеды – платные»). Приходят усталые, красные, бледные, потные, злые... Едят сначала молча. Под лаской сала лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.)¹

¹ См. с 390–392.

5

Итог: «Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках...» «Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены служанка».

Подробно излагаются разговоры о том, что ЧК возглавляет жид Урицкий, что убил его другой жид – Каннегиссер: «два жида поссорились», что жида Христа распяли... Все это слышит и передает автор «Вольного проезда», иногда вмешивается в споры, утверждая, что и евреи бывают разные, хорошие тоже, к примеру – стрелявшая в Ленина Фанни Каплан или тот же Каннегиссер, которого Марина Цветаева знала в гимназические годы.

Едва ли не единственный человек, вызывающий у автора симпатию и даже восторг – продотрядовец, такой же разбойник, как остальные, но напоминающий Цветаевой Стеньку Разина, так она его и называет: «Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое...» Он с благоговением вспоминает: «Отец мой – околоточный надзиратель царского времени... Великий, я вам повторю, человек... Царя вровень с богом чтит». О самом же продотрядовце сказано: «Купил с аукциона дом в Климачах за 400 рублей. Грабил банк в Одессе – «полные карманы золота!» Служил в полку наследника». Марина Цветаева читает ему стихи, он ей – «про город подводный», Китеж. «После тещ, свах, пшен, помойных ведер, Марксов – этот луч – (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят!»

И скорбь об убиенном императоре, и проклятия его убийцам...

Сейчас я, помимо цитат, кое-что восстанавливаю по памяти, без красочных подробностей. Все равно они ничего не меняют. Россия погублена, отдана на поток и разграбление врагам ее – жидам и красноармейцам-«опричникам», опричникам новой власти... Короче – «Бей жидов, спасай Россию!»

6

Зачем я так подробно, словно смакуя, пересказываю «Вольный проезд»?.. Не знаю. Скорее всего, чтобы перепроверить себя, свое тогдашнее состояние: насколько были основательны причины моей растерянности... Расскажи мне кто-нибудь о чем-то подобном – я бы не поверил. Но вот они лежали передо мной – листочки тонкой, полупрозрачной бумаги, присланные в редакцию из Москвы профессором Л. Козловой, преподавателем Пединститута им. Ленина... Я читал и перечитывал их сам, пытался прочесть жене... Однако даже и теперь, словно пробуя монету на зуб или денежную купюру на просвет, снова всматриваюсь, вчитываюсь, будто хочу потрогать рукой каждый звук, каждую букву... Тогда же я постарался отложить, отодвинуть зловещий вопрос и единственно возможный ответ. Мало ли что... А Достоевский?.. Как он относился к евреям или полякам?.. А Чехов?.. А что писали Герцен или Салтыков-Щедрин о немцах?.. Но ведь не следует же из этого... И нечего катить бочку на Марину Цветаеву. Мало ли, мало ли что... Эта ее всегдашняя экзальтация, и муж – в Добрармии у Деникина, а тут – голод, смятение... Потом – горькая, полунищая эмиграция, возвращение в Россию – и затянутая на горле петля... Кто я такой, чтобы судить? И – кого, кого?.. – Так я сказал себе, ничего не решив и не избавясь от когтящего сердце недоумения: «О, Чехия в слезах! Испания в крови!..» Когда Марина Цветаева публиковала в Париже свой очерк, Гитлер, сидя в тюрьме, только еще диктовал «Майн кампф», еще далеко было до тридцать третьего года, тем более – до «практического решения еврейской проблемы»... Другое меня огорошило: зачем нам-то, знающим то, чего она тогда не знала, печатать это сейчас?.. На третьем году перестройки?..

Примерно год назад мы узнали из газет о существовании общества «Память», о декларациях его вожаков. Потом стало выясняться, что у общества немало филиалов по всей стране:

в Новосибирске, Ленинграде, Свердловске. В «Нашем современнике» напечатали откровенно антисемитский роман Василия Белова «Все впереди». До этого по рукам ходила переписка Эйдельмана с Астафьевым, в которой напрямик, без принятых еще недавно экивоков, говорилось о пагубной роли евреев в истории России: тридцать седьмой год, расстрел царской семьи, разрушение храмов, изгнание из литературы славянского духа – всё они... Еще раньше – записанные на магнитофонную пленку лекции академика Углова, обвинявшего евреев в спаивании русского народа чуть ли не со времен Владимира Красное Солнышко... Публикация «Вольного проезда» попала бы напрямиком в эту струю.

Я не имел представления о профессоре Л. Козловой, мог лишь догадываться, отчего не обращалась (или обращалась?..) она в московские редакции, а решила попытать счастья в периферийном издании... Но я знал нашу редакцию, в особенности людей, с которыми бок о бок прожил столько лет, знал довольно давно главного редактора Геннадия Толмачева – не очень, правда, близко, но и он, придя три года назад в журнал, вызывал у меня полное доверие и симпатию... Было бы стыдно для меня самого заподозрить ребят в чем-то скверном, а уж в антисемитизме...

Абсурд! – решили мы с женой. Завтра я найду в кабинет к редактору и скажу:

– Вот, я прочитал, возвращаю... Конечно, вопрос о публикации в журнале этой вещи, да еще теперь – шутка... Я ее понял и оценил.

Так я скажу Толмачеву, решили мы. И вопрос будет исчерпан. Да и в чем, собственно говоря, здесь вопрос?..

7

Но вопрос был... В том-то и дело, что был... Потому-то я и обрадовался, когда мы обнаружили такой вот простенький выход. Он позволял не касаться колючек, давно уже меня царапавших, не сосредоточиваться на занозах, загнанных глубоко под кожу. А они свербели, покалывали – эти занозы... Хотя и были всего лишь занозами – не больше. И внимание на них обращать-то глупо, когда тебе известно кое-что, в пределах дозволенного, а чаще – просочившегося помимо и сверх дозволенного – о Бабьем Яре, или деле Бейлиса, или о погромах, которые происходили на глазах у твоих бабушек и дедушек, уцелевших, в отличие от их братьев или сестер, и нехотя рассказывавших о том, давнем, в ответ на твои недоверчивые, рожденные детским любопытством вопросы... Но и заноза – жалит, когда перед тобой – не логическая категория, не чьи-то воспоминания и рассказы, а живой человек – светловолосый, отлично сложенный, хотя и с намечающимся брюшком, которое держат в норме регулярная игра в волейбол, сауна, природное здоровье... Он ведет себя со всеми просто, у него широкая, открытая улыбка, и «душа нараспашку», и он никогда не корчит из себя начальника, и стремительно, только-только закончив читать рукопись, распоряжается заслать твой роман в набор, поставить в номер... И вот он остается с тобой наедине, и смотрит тебе в лицо, и доверительно, с тревогой за то, поймешь ли ты его правильно, ведь он вовсе не хочет тебя обидеть, единственное, чего он хочет – это чтобы ты его понял, правильно понял – говорит:

– Понимаешь, в Москве мне сказали: семьдесят три процента в московской писательской организации – евреи... Такое дело...

Дома мы с женой подсчитываем, пользуясь данными справочника Союза писателей СССР: выходит, истинное число увеличено по меньшей мере в три раза... Но отчего-то, когда я на другой день хочу ему об этом сообщить, мне становится неловко – и за него, и за себя... И я предпочитаю промолчать.

Или – перед моей командировкой в Москву, затеянной, чтобы добыть для журнала рукописи, способные и поднять его уровень, и вызвать у читателей интерес:

– Ты парень сообразительный и сам понимаешь, какие авторы нам нужны...

Слова эти роняются мимоходом, картавой скороговоркой (он довольно сильно картавит, наш вполне чистокровный славянин Гена Толмачев), и глаза его при этом опущены, косят в сторону... Я не сразу догадываюсь, о чем именно, о каких авторах идет речь.

А догадавшись, на миг испытываю такое чувство, как если бы мне за шиворот плеснули кипятком. Но тут же остужаю себя. Разве сам я – правда, в шутку, потешаясь над юдофобами из «Нашего современника», – не посмеивался у себя в отделе, где всегда набивалось много народа и бывало весело, шутки, остроты, порой злые, перелетали из уст в уста, как отбитые ракеткой воланы, – разве сам я не смеялся, воображая, как отреагировали бы в «Нашем современнике», узнав, что у нас в журнале в течение одного года публикуются повести Мориса Симашко, Аркадия Ваксберга и Юрия Герта... Ну, вот. Хоть и в шутку, а пришла же такая мысль мне в голову. А если Толмачеву кто-то высказал ее всерьез?..

Как-нибудь, думал я тогда, подвернется случай – и мы поговорим, все выясним... Чтобы никакая тень между нами не лежала... Не нужно усложнять там, где существует простое недо-разумение... Так я думал, но разговор все откладывал.

Или, помню, на планерке назвали фамилию Игоря Мандела – автора предлагаемой в номер статьи.

– Кто-кто?.. Мандель?.. – широко улыбается Толмачев. И такая, в расчете на общее взаимопонимание, ирония в этой улыбке, что все смеются в ответ и поглядывают на меня. Как не ответить на шутку шуткой?.. И я растерянно улыбаюсь в ответ.

Между тем Игоря Мандела я знаю двадцать лет, когда мы познакомились, он еще учился в школе, и все это время я издали наблюдал за ним – работающим, талантливым, до наивности честным. Сейчас он кандидат наук, математик, статистик, его монографии выходят в Москве, это я рекомендовал редакции его статью... В редакции ее отклонили, возможно – и заслуженно, была она несколько не по профилю журнала, тем не менее та планерка запомнилась: при слове «Мандель» – веселые, поддевающие усмешки, щекочущие, как прутик – спящего, взгляды...

Но сквернее скверного – подозревать, а тем более – обвинять человека, который ни в чем не виноват. И делать из мухи слона, чтобы – как в старом анекдоте – торговать слоновой костью...

Так думал я тогда.

Но следует ли всю жизнь разыгрывать из себя страуса?.. – думаю я теперь.

Но это – потом, потом... Это потом из удушливого, слепого тумана рефлексий стали выпадать в осадок, конденсироваться по каплям кое-какие мысли... А тогда, то есть на другой день, я сидел у себя в отделе над рукописями, оттягивая неловкий разговор, дожидаясь, пока Толмачев останется в кабинете один. И не дождался: проходя мимо, по коридору, он заглянул в дверь:

– Прочел?.. Зайди ко мне.

В кабинете, помимо хозяина, сидели еще двое – так, без особого дела заглянувшие сюда Морис Симашко и Виктор Мироглов. Тот и другой – близкие – хотя и по-разному близкие – мои друзья. С Морисом, чьи книги переведены на множество языков и расходятся по всему миру, мы знакомы больше двадцати пяти лет, он старше меня и держится добродушно-покровительственно. С Виктором я знаком примерно столько же, рекомендовал его в Союз писателей, нам случалось в сложных ситуациях выручать друг друга, и был у нас в прошлом безумный и отчаянный поход к Кунаеву, за которым последовала расплата... Но об этом после.

Затевать разговор в их присутствии мне не хотелось. Я был уверен, что каждый из них меня бы поддержал. Но именно это поставило бы Толмачева в неловкое положение – один против трех... К тому же, знал я, Толмачев болезненно самолюбив, а с Мирогловым у него неприязненные отношения, получится спектакль, в котором – не по моей, а выходит и по моей милости – уготована главному редактору незавидная роль...

Но что поделаешь?.. «Ты этого хотел, Жорж Данден!..»

– Я прочел, – сказал я, опускаясь в кресло перед редакторским столом и стараясь, чтобы мой голос звучал возможно непринужденнее. – И понимаю, что это шутка...

– Шутка? – светлые брови Толмачева скакнули вверх. – Как это – шутка?..

Что там ни говори, а чувство юмора у него всегда было развито.

– Ну, розыгрыш.

– Ничего себе – розыгрыш! – Он задвигал плечами, заерзал, будто его неожиданно-негаданно голым задом толкнули в крапиву. – Марина Цветаева – розыгрыш?..

Глаза Толмачева, покрутившись, смотрели на меня с искренним изумлением. В его натуре, помимо склонности к юмору, имелись явно артистические задатки.

– Неужели, – сказал я, сбившись с тона, – ты в самом деле полагаешь, что это нужно печатать?

– А почему нет?

Теперь уже я почувствовал себя ошарашенным – под его прямым, немигающим взглядом.

Больше всего я опасался поставить Толмачева в дурацкое положение. Да, временами он вызывал у меня настороженность, но и подобия неприязни я к нему не испытывал. Напротив...

Досадуя, что все это происходит в присутствии Мориса Симашко и Виктора Мироглова, молчаливо слушавших наш разговор, не имея представления, о чем идет речь, я открыл дипломат, достал рукопись и принялся читать вслух. Я прочел одну, две, три страницы...

– Ну? – сказал я, переводя дыхание. – Может, достаточно? Толмачев упрямо пожал плечами, скользнул глазами в сторону Симашко и Мироглова, уперся в меня:

– Не вижу ничего особенного. И потом – некоторые места мы наметили убрать, сделать купюры.

– Купюры?.. У Цветаевой?..

– А что особенного? Все так делают.

– Да что тогда от очерка останется? Если весь он, от первой до последней строки, пронизан монархической романтикой? Если весь его пафос в том, что это евреи революцию затеяли, чтобы русский народ грабить и мучать, а самим хапать золото?..

– Ну, – сказал Толмачев, – так уж!.. Ведь это – Марина Цветаева! Ее имя окружено пие-тетом... И потом: каково ей в эмиграции приходилось? Ни хлеба, ни денег. Вот она, видно, и согласилась написать, когда ей в белогвардейских этих «Современных записках» приличный гонорар посулили. Что ж ей, с голоду было умирать?..

Цветаева?.. За гонорар?.. Это не она, это ты бы так поступил! – подумалось мне в запале. – Ты и понимаешь, и объясняешь все со своей точки зрения!.. – Ведь я помнил, как лет эдак пятнадцать назад, вернувшись из Москвы, после Академии общественных наук при ЦК КПСС, одетый в голубого цвета костюм в обтяжку, с металлическими, под серебро, пуговицами, он с поражающей всех бойкостью и детальным знанием дела рассказывал, просвещал нашу зачуханную, провинциальную писательскую братию, каким партийным чинам, в соответствии с узаконенной субординацией, какое положено «корыто», так – без всякого юмора, на понятном для посвященных жаргоне – это именовалось: зарплата, машина, секретарша, квартира, поездки за рубеж, спецбольница, спецконьяк для подкрепления расшатанного здоровья... «Корыто»... Я слушал, отвесив челюсть, а перед глазами у меня розовели круглые пороссячи зады с завитыми восьмеркой хвостиками...

Нет, не пририсовывалась к ним худенькая, вся из углов, прикрытая старенькой, из России вывезенной шалью фигурка Марины Цветаевой, спешащая вдоль карнавально-веселой, беззаботной парижской улицы...

Я, однако, сдержался.

– Не будем спорить, почему и зачем это было написано... Только печатать это?.. У нас в журнале?.. Да нам же «Память» рукоплескать будет!

– У нас гласность, – сказал Толмачев наставительно. – Демократия. Тем более – вся редакция прочитала, ребята считают – нельзя, чтобы такой материал у нас из рук ушел. Марина Цветаева же!.. Это тебе не хухры-мухры...

Он снова кинул взгляд на Симашко, на Мироглова, ища поддержки.

Тут я впервые порадовался, что они оба – здесь, присутствуют при нашем споре: у меня не было сомнения, что я – прав, и со стороны это тем более очевидно.

– А что, – отозвался Морис нерешительно, – можно и вправду посмотреть, кое-где купюры сделать – и печатать...

– Ничего не могу сказать, пока сам не прочитаю, – мотнул головой Мироглов.

Вот как...

Что ж, пусть почитают. Хотя и тех страничек, которые я прочел вслух, вроде бы достаточно... Я ошибся. Ладно, пускай... Морис поймет, что я не с бухты-барухты попер на дыбы. И Мироглов... Ему, понятно, не доводилось испытать на себе кое-какие прелести нашей жизни... Но он разберется. И Толмачев тоже. Хотя бы как политик... Ведь он – политик, номенклатура: в издательстве был главным редактором, потом руководил партийной газетой...

– По-твоему, что же, – сказал Толмачев, – русские могут бандитами быть, а евреи – нет?..

Вот как он меня понял!

– В Каплане главное не то, что он бандит, а то, что он – еврей! Тут весь джентльменский набор: жадный, хищный, жестокий, лицемерный, двоедушный, с золотым слитком на шее, враг православия и погубитель России! Получился не характер, а национальный тип, вернее – стереотип, любезный любому антисемиту! Только и разницы, что в одном случае это ростовщик или корчмарь, в другом – «Пиня из Жмеринки», в третьем – врач-убийца, продавший Родину за доллары!.. Разве ты это не чувствуешь?

– Не чувствую, – буркнул Толмачев. – Слишком уж у тебя кожа тонкая, если ты это чувствуешь...

Счастливый человек, подумалось мне...

– Видишь ли, – сказал я, ощущая и нечто вроде сострадания к Толмачеву, и собственное – не гордость, а горечь внушающее превосходство, – мы спорим не на равных. Тут у меня явное, как говорится, преимущество. Ты принадлежишь к великому народу, который хоть и вынес немало бед за свою историю, но не знает, что такое – национальная ущемленность. Ты заметил, что у меня нос скошен в сторону... Это в январе 1953 года, когда заварилось «дело врачей», какой-то тип звезданул меня в лицо. Случилось это в Вологде, я был студентом, учился в пединституте, и вот как-то часов около десяти вечера шли мы, я и мой товарищ, тоже студент, Алфей Копенкин, по улице, в самом центре, и тут пьяная шарага вываливает из ресторана «Север» нам наперерез. «А, жид?..» И мне кулаком в рожу. Вот когда я понял, что значит – «искры из глаз посыпались». Кровища фонтаном, потом оказалось – даже челюсть треснула... Сволочное время было, то – «космополиты», то «шпионы-врачи»; хотя в институте ни я, ни мои товарищи-евреи неприязни к себе не ощущали, наоборот – какое-то сочувствие, даже неловкость за то, что в газетах пишут, что в Москве творится... Я это помню, только и удар – помню. И хотел бы забыть – нос помнит, челюсть помнит... До войны, мальчишкой, я не задумывался – кто я, знал: мы – евреи, те – русские, те – греки, все равно что – эти черные, те – рыжие... И только. Но в эвакуации, в Коканде, меня ежедневно били по дороге в школу. «Абрам», «жид» – это там я услышал впервые. Ни учителям, ни моим одноклассникам, ни бабушке с дедом я в этом не признавался, стыдно было. И каждое утро брал портфель с учебниками, тетрадками, выходил из хибарки, в которой мы снимали комнатку с земляным полом, и шел в школу, зная, что за поворотом ватага мальчишек уже меня поджидает... И не боль от ударов меня страшила, а эти крики – «Жид! Абрам!...» Они оглушали, погружали в какое-то оцепенение, столбняк – я не знал, чем ответить... Ну, да, я еврей, по-ихнему – жид... Но почему за это нужно меня бить?.. Тут зазор, который я не мог заполнить... Не могу и теперь. Или уже в пятидесятых: моя

жена, москвичка, окончила институт, а на работу нигде не берут: пятый пункт не тот!.. И отец ее, отличный экономист – уже больной, на старости лет, уезжал из Москвы – то в Белоруссию на строительство нефтепровода, то в Каражал, под Караганду – по той же причине... Так что мы по-разному воспринимаем одни и те же слова: «Память», «жидомасоны» – в соответствии с тем, какой у кого жизненный опыт. Но поверь; скажи мне кто-нибудь, что я задеваю, даже ненароком, его национальные чувства... Я бы сдох со стыда и вымарал из своей вещи малейший намек, не намек – все, что могли принять за намек...

– У нас демократия, – выслушав меня, сказал Толмачев. – Гласность.

Лицо у него было каменное, непрístupное.

– И что же? Значит – и нацизм, и фашизм – все допустимо, все разрешено?

– Пожалуйста, – улынулся Толмачев. – Как в любом демократическом государстве.

Мне вспомнилось, как ровно год назад он уговаривал меня снять любые упоминания о сталинских лагерях в моей повести, печатавшейся в журнале.

– И вообще, – продолжал он с нарастающим вызовом, – что же, если я еврейский анекдот расскажу, ты обидишься? У каждого народа свои слабые стороны. Например, я знаю, что у евреев золота много! И никто меня в этом не переубедит!..

Он рассмеялся. У него была такая широкая, от уха до уха, улыбка. И смех – такой заразительный, что всегда хотелось к нему присоединиться...

– Демократия, гласность?.. Ну, а если я тебе рассказ принесу, всего на пять страничек?.. Напечатаешь?.. Маленький, невинный, по сути, рассказик?.. Он в мою повесть «Солнце и кошка» должен был войти, но тогда, в 1976 году, не вошел, да я и не предлагал, все равно бы не напечатали...

– И зря. Я бы напечатал. – Он тогда работал в том самом издательстве, где выходила моя повесть.

– Еще бы... – Я едва не рассмеялся. – Повесть была о моем детстве, довоенном и военном, так от меня категорически потребовали, чтобы я «приглушил национальный колорит», а проще говоря – переименовал имена своих родичей с еврейских на русские!..

– Все равно, – не моргнув глазом, повторил он, – я бы напечатал.

– Не буду тебя ставить в неловкое положение... Что спорить попусту? Не напечатал бы тогда, не напечатаешь и теперь.

– Напечатаю!

Голос его звучал жестко, уверенно. Видно, он был убежден, что я блефую, нет у меня такого рассказа.

– Хорошо, – сказал я, – завтра же принесу...

8

Вот что писали в те дни газеты:

«В конце июня я приехала к друзьям в Москву. В субботу 27 июня мы поехали в Измайловский парк. На аллее, которая выводит к троллейбусу, собралась толпа, человек 30–40. В центре стоял худощавый тип в шортах, лет 55, с талантом оратора. Но что он говорил?! Он говорил, что наше правительство – масоны, что партия ведет народ в тупик. Он требовал свободы действий для своей организации, высказывал махровые националистические взгляды. Люди, стоящие вокруг, как ни странно, ему аплодировали. Я обратилась к милиционеру, но он сказал, что у нас свобода и демократия».

Л. П. Каменецкая, Ленинград («Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)

«Мне непонятна позиция газеты: кому и зачем понадобилось выгораживать жидов-масонов? Ведь каждому здравомыслящему человеку понятно, что застой в общественной жизни и экономике – это дело рук «сынов Израилевых».² Непонятно также, почему стараются очернить истинных патриотов: К. Андреева, Д. Васильева, А. Гладкова, В. Шумского, которые ведут борьбу с силами скрытой реакции...»

И. Иванов, русский человек (Там же.)

«Надо было слышать, с каким выражением произносились на научной (!) конференции в Ленинградском (!) университете нерусские фамилии. Как доказывал М. Любомудров, что над нашей театральной культурой властвуют русофобы и ими осажден "Невский пяточок" (сиречь Ленинград). "Сегодня мы уже знаем механизм уничтожения российских талантов, – взывал он к залу и продолжал: – Вампилов, конечно, не умер. Но погиб, как разведчик в бою. В том поиске, сражении, в котором погибли писатель Шукшин, поэт Рубцов, художники Васильев и Попков, критик Селезнев. Свою разведку боем они вели в одном направлении – они шли в Россию, сражались за нее и отдавали свои жизни... Вампилов погиб в самом начале 3-й мировой войны, которую мы продолжаем вести и сегодня!"

Из зала пошли записки... Вот одна из них: "Какова роль евреев в заговоре против русского народа?" Ф. Углов из возможных вариантов ответа выбирает: – Они автографов не оставляют.

... Доверчивая (или сочувствующая) публика не согнала ряженого с трибуны, а аплодировала ему».

Геннадий Петров, секретарь правления Ленинградской писательской организации («Советская культура», 24 ноября 1987 г.)

«Война уже идет, жестокая, незримая война. Если я войду к вам в дом, наплюю на пол, оскверню его, надругаюсь над вашими домашними, как вы поступите со мной? Разорвете на куски и выбросите в форточку? Доколе же терпеть нам, братья и сестры?...»

Д. Васильев, лидер «Памяти» («Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)

«Нынешние лидеры "Памяти" чуть ли не в открытую призывают к экстремизму. В так называемом "Обращении к русскому народу" читаем: "...Смелее находите и называйте вражеские конспиративные квартиры... Проводите по всей стране манифестации и референдумы... Установите контроль над средствами массовой информации, выявляйте продажных журналистов и расправляйтесь с ними... Родина в опасности!"

Владимир Петров («Правда» за 1 февраля 1988 г.)

«Когда один из главарей "Памяти" Д. Васильев крикнул: "Рвать на куски врагов народа и выбрасывать в форточку!" и "Мы сотрем в порошок всех, кто станет на нашем пути", я услышал невольно истерические крикливые речи Гитлера, Геббельса, Штрайхера и других главарей национал-социалистической партии Германии. Главари объединения "Память" хотят видеть Россию "юденрайн" (чистой от евреев). Они фетишизируют понятие "русский по национальности", как гитлеровцы говорили об арийской расе. Они хотят

² См. с. 392–394.

вызвать у русского народа чувство высшей расы, как это делали гитлеровцы с немецким народом. Это ведет к страшным последствиям».

*Фриц Маркузе, немецкий коммунист, воевавший против фашизма
(«Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)*

9

Как бы там ни было, мы закончили разговор на примиряющей ноте. Я почти успокоился после него. И даже пожалел, что в горячке спора зацепил самолюбие Толмачева.

– Этому очерку место в «Избранном» или «Собрании сочинений», – сказал я. – Там его можно прокомментировать, осмыслить в историческом, биографическом плане...

– А зачем? – прищурился Толмачев, должно быть решив, что я хитрю, стараюсь оттянуть публикацию на бог знает какой срок.

– Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то носил на шее золотой слиток? Видел, читал о чем-то подробном? А чтобы командир красноармейского отряда по подразверстке, не пряча, у всех на виду носил его на шнурочке? Можешь ты это представить?.. И потом – где, у каких крестьян они, эти золотые слитки, водились, чтобы их отбирать?.. Но ведь и Марина Цветаева, должно быть, не присочиняет?.. Словом, нужен комментарий.

– Ну, допустим...

– Но это частность. Что мы знаем о Марине Цветаевой? Она ненавидела революцию – и восторгалась безоглядно принявшим ее Маяковским. Она бежала из революционной России – и вернулась в нее в разгар сталинского террора. Она романтизирует русскую монархию – и трагически переживает гибель республиканской Испании. Ее муж Эфрон воюет в рядах белогвардейцев-деникинцев с красными – и затем рвется из Парижа в Советский Союз, где по приезде и погибает. Выдерни один-два факта ее биографии, выдерни некоторые строки, стихи – какие открываются возможности для самых разных спекуляций!..

– Что же ты предлагаешь?..

– Разобраться самим, что к чему, и помочь разобраться читателю, который не слишком осведомлен в судьбе Марины Цветаевой – как и мы сами, чего греха таить... И не давать повода превратить ее в союзницу «Памяти» и черносотенцев из «Нашего современника».

– Разве ты не знаешь моего отношения к ним?..

– Знаю. Но и ты меня знаешь. Если «Вольный проезд» будет напечатан без толкового комментария, я уйду из журнала.

Толмачев помолчал.

– Понимаю... – Голос его отмяк, в пристальном взгляде, которым он словно впервые меня рассматривал, я поймал то ли соболезнование, то ли сочувствие...

Я был уверен: все обойдется. Толмачев пришел в редакцию три года назад, все мы приняли тогда его назначение настороженно, иные даже враждебно. За три последних года, однако, журнал напечатал несколько смелых вещей, мало-помалу, благодаря перестройке, в нем воскресали давние, загубленные годами застоя традиции. Время, здравый смысл и эти традиции эпохи «оттепели» – на моей стороне, – думал я.

– Толмачев поймет, уже понимает – нельзя гробить едва поднимающийся с четверенек журнал...

Не он, а мои друзья, честно говоря, смутили меня в тот раз – Морис Симашко и Виктор Мироглов. Смутило их молчание – вместо поддержки... Мерзкое у меня было чувство в душе, когда мы с Виктором (Симашко ушел раньше) после работы бок о бок прошагали по улице несколько кварталов. Небо над городом висело низкое, пасмурное, и между нами вместо

привычной ясности горьким дымком клубилась какая-то хмарь. Я что-то говорил, только бы нарушить гнетущее молчание. Виктор посапывал, отводил глаза в сторону.

– Надо прочесть самому, – повторил он произнесенное в редакторском кабинете. – Пока не прочту, ничего не могу сказать.

Что ж, он был прав. Но в тоне его, в тяжеловесной фигуре, в тяжелых, размашистых шагах, в том, как давили, размазывали по земле подошвы его ботинок густую, клейкую грязь, я ощущал едва прикрытую враждебность.

Дома я рассказал о разговоре с Толмачевым, признался, что наговорил, наверное, лишнего...

– Но я выложил все, что думаю, начистоту. Когда говоришь с человеком так, без задних мыслей, начистоту, это не может не подействовать...

Не знаю, что, слушая меня, думала жена, но возражать мне она не стала.

10

Мы многого еще не знали в то время, но и того, что знали, хватало для некоторых догадок. Да, мы догадывались, как сложна, запутана, искорежена трагическими обстоятельствами была судьба Марины Цветаевой с ее страшным финалом. Но как могли мы предположить, что ее муж Сергей Эфрон, добиваясь разрешения вернуться на Родину, согласился выполнять оперативные задания НКВД в Париже: что он причастен к нашумевшему похищению генерала Миллера, возглавлявшего «Общевойсковой союз», и к убийству советского разведчика Игнатия Рейсса, который, подобно Раскольникову, отказался возвращаться домой в 1937 году и выступил публично с разоблачением сталинского режима; что он, Сергей Эфрон, участвовал и в слежке за сыном Троцкого Львом Седовым, умершим весьма загадочно вскоре после отъезда Эфрона в Россию... Об отношениях Марины Цветаевой с эмигрантской средой, скандализованной историей похищения генерала Миллера, о полицейских разоблачениях, о потрясении, пережитом ничего прежде не подозревавшей поэтессой, – обо всем узнали мы только два года спустя³.

Но то, что «Вольный проезд» – лишь камешек в грандиозной мозаике жизни и творчества Марины Цветаевой, который, будучи выломленным из всей картины, способен не прояснить, а скорее исказить ее облик, – это было нам ясно и тогда.

И было ясно, не возбуждало сомнений – даже будь нам ничего неизвестно о дружбе Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, об отношении к ней и к ее творчеству Ильи Эренбурга и т. д., Марина Цветаева не могла быть антисемиткой. Впоследствии же оказалось, что публикации в «Современных записках» она предпослала следующее стихотворение:

ЕВРЕЯМ

Кто не топтал тебя и кто не плавил, О, купина неопалимых роз! Единое, что по себе оставил Незыблемого на земле Христос:

Израиль! Приближается второе Владычество твое. За все гроши Вы кровью заплатили нам: Герои! Предатели! – Пророки! – Торгаши!

В любом из вас, – хоть в том, что при огарке Считает золотые в узелке, – Христос слышнее говорит, чем в Марке, Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле – от края и до края Распятие и снятие с креста. С последним из сынов твоих, Израиль, Воистину мы погребем Христа.

Кто не топтал тебя и кто не плавил,
О, купина неопалимых роз!

³ См. «Новый мир», № 3, 1989 г. Ирма Кудрова: «Последние годы чужбины».

Единое, что по себе оставил
Незыблемого на земле Христос:

Израиль! Приближается второе
Владычество твое. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои!
Предатели! – Пророки! – Торгаши!

В любом из вас, – хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке, —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле – от края и до края
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа.

Об этом стихотворении – таком пронзительном, страстном, с характерным цветаевским перехлестом – мы узнали позже, и об этом – особый рассказ... Другое дело, что о нем, несомненно, знала, не могла не знать профессор Л. Козлова, обращаясь в журнал. Знала. И – как оказалось впоследствии – знала не только она...

11

Однако некоторые слова из тех, что произнес Толмачев, засели в моей памяти, как ржавые гвозди. Например – о золоте, которое в изобилии водится у евреев... В самом деле, есть, как известно, такое мнение – тут вспоминаются и Шейлок у Шекспира, и «презренный жид, почтенный Соломон» у Пушкина, и мало ли что еще... Но вот, добродушно посмеиваясь, об этом же говорит мне Толмачев. У него – отличная квартира в центре города, преподнесенная ему государством (как и те, что имелись у него раньше и которые за свои пятьдесят лет он успел не раз поменять), он ни года не прожил без служебной машины со служебным шофером, он вдоволь попутешествовал по заграницам, пользуясь разного рода льготными путевками, он постоянно где-то «наверху»: то собкор центральной, то редактор областной газеты, то зам. редактора журнала «Партийная жизнь», то есть для него – и спецмагазины, и спецбольница, и спецсанатории... Я живу двадцать пять лет на окраине города, в квартире, купленной за свои, гонорарные деньги, – хрущевского образца, с низким потолком и совмещенным санузлом; у меня нет и не было ни машины, ни дачи; я был и остался работником редакции, моя ставка за двадцать три года выросла со 145 до 190 рублей, я ни разу не был в загранпоездах, раз в год мы с женой в отпуск ездим в писательский Дом творчества по оплаченной нами путевке – и при этом считаем, что нам повезло... Я покупаю мясо на базаре, маюсь, как и все, в обычной больничной палате на шесть, а то и девять коек, и попадаю туда все чаще. Мне пятьдесят семь лет, в будущем у меня не предвидится никаких – в лучшую сторону – перемен... Однако именно мне, и не кто-нибудь, а именно Толмачев толкует о «золоте»...

У моих друзей-евреев его ровно столько же, сколько у моих друзей-русских и друзей-казахов. Но не глупо ли, не унижительно ли – это доказывать?..

Дай-ка я лучше отнесу ему тот рассказ, – подумал я. Кстати, ведь в нем тоже речь о золоте... Еврейском золоте... И я отыскал пожелтевшие странички с бахромой по краям. Рас-

сказ был написан в конце шестидесятых, в один присест. Славное время... Помню, в «самиздате» тогда гуляли стихи Бориса Слуцкого:

Евреи хлеба не сеют,
евреи в лавках торгуют,
евреи раньше лысеют,
евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе...
Я все это слышал с детства,
И скоро совсем постарею,
но мне никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не предававши ни разу,
Не торговавши ни разу,
ношу в себе, как заразу,
эту проклятую фразу!
Пуля меня миновала,
чтоб говорилось нелживо:
«Евреи – не воевали,
все возвратились живы!»...

Эти давнишние стихи были наконец опубликованы несколько месяцев назад в «Новом мире». Когда-то у нас в Караганде, в среде молодых литераторов, где верхом неприличия считали придавать какое бы то ни было значение «пятому пункту», все их знали наизусть... Обращенный публикацией, я заглянул в редакторский кабинет со свежим номером журнала и показал Толмачеву стихотворение Слуцкого.

Толмачев посмотрел на меня стеклянными глазами:

– Никогда не слышал, – сказал он.

12. А ты поплачь, поплачь... (рассказ)

Утром хозяйка, у которой мы жили, сказала:

– Вставай, тебя бабка зовет.

Я спал на террасе – по ночам здесь было не так душно. Я оделся и пошел в комнату.

Здесь собрались уже соседи и еще какие-то люди, я их не знал. Они расступились, и я увидел кровать, покрытую свежей белой простыней.

Последние два месяца дед болел водянкой, тощее, усохшее тело его вдруг раздуло, как резиновый баллон, а тут, если бы не голова и ступни ног, упертые в железные прутья кровати, могло показаться, что под простыней пусто.

В изголовье, на стуле, в черном платочке, сидела бабушка. Она поднялась мне навстречу и сказала, глядя куда-то ниже моего подбородка:

– Дедушка наш умер. Я это понял сам.

В таких случаях – я знал, слышал или читал об этом – люди плачут, заламывают руки и целуют покойника в лоб. И все смотрели на меня, ожидая, как мне казалось, того же самого. А я стоял не шевелясь и только видел перед собой белую свежую простыню, еще в жестких складках от глажки.

Я не любил деда, почти ненавидел.

За обедом, разливая жидкий суп, бабушка наливала ему полную тарелку, а себе – на доньшко. Меня это бесило. Я отливал ей от себя так, чтобы у нас было поровну – дед все съедал сам, не поднимая голодных глаз от тарелки. Получив хлеб по карточкам, я честно приносил его домой, не тронув ни крошки, но дед, повертев горбушку, говорил: «А какой он сегодня?..» – и отъедал ее всю, сосал, чмокал своим редкозубым ртом. И ночью, поднимаясь помочиться, на обратном пути он тихо, стараясь не заскрипеть половицей, крался к шкафчику, где в банке хранился сахар, наш общий сахар, и я начинал громко ворочаться, чтобы его испугнуть, но он все равно крался, и я слышал, как поддетый его пальцами кусочек шаркал по стеклу, там, у горлышка.

И вот теперь я смотрел на белую простыню и думал, что мы с бабушкой станем все делить поровну, справедливо.

Не знаю, чем со стороны казалось мое молчание и неподвижность. Но бабушка подошла ко мне, мягко погладила по затылку и, сказав: «Ты поплачь, поплачь, легче будет», – отвела в сторонку.

Мне было стыдно ее красных глаз, ее набрякших век, ее скорбного, черного, в белых горошках платочка, но я не мог выжать ни единой слезинки.

Я обрадовался, когда спустя полчаса меня послали за врачом, лечившей деда: для похорон требовалась справка, что мой дед действительно умер.

На улице было еще прохладно, воздух казался особенно прозрачным и чистым после комнаты с затворенными окнами и тяжелым, сладким запахом смерти. В арыке весело ворковала вода, над низкими заборами вскипала густая жирная листва, в которой просвечивали янтарно-спелые урючины, на каждом углу, примостясь на корточках, женщины в грязных пестрых халатах торговали рисом, курагой и кислым молоком с коричневой пенкой.

Я быстро нашел нужный дом, но сопровождать врачу мне не пришлось – она просто выписала мне справку на бланке – таких бланков у нее была заготовлена целая стопка, – и я ушел.

Я возвращался не торопясь, довольный, что так хорошо выполнил поручение и тоже чем-то помог в хлопотах. Об этом я как раз и думал, когда заметил впереди раскидистую чинару и сообразил, что надо было свернуть в боковой переулок. Но теперь сворачивать было поздно, потому что там, под чинарой, тоже заметили меня. Каждый день по дороге в школу я проходил мимо этой чинары, и всякий раз мне хотелось свернуть в боковой переулок, но я не сворачивал, а шел мимо, даже убавлял шаг, чтобы там, под чинарой, не подумали, что я струсил.

Я не мог себе позволить, чтобы там так решили в этот день, особенно в этот день.

Они все уже собрались, все сидели там – и Косой, и Дылда, и остальные – все они были в сборе, и среди них, конечно, был и тот. На Костылях, – так я называл их для себя.

– Эй, Абрамчик! – крикнули мне, и я пошел медленнее, не поворачивая головы. Я знал, что это их особенно злило, но я головы не поворачивал и бежать никуда не бежал.

– Эй, Абраша, подь сюда!

Я пошел еще медленнее, по-прежнему притворяясь, что не слышу.

Тогда они поднялись и двинулись мне наперерез.

Я остановился, стиснув справку о смерти деда в потном кулаке.

– Чего вам?

Теперь они стояли против меня полукругом, цепко, настороженно следя за каждым движением. Тот, На Костылях, протолкался вперед, и я видел прямо перед своим его лицо, маленькое, бледное до голубизны на висках, с прищуренными, горячими от злобы глазами.

– Абраша, где твой папаша? – крикнул он, картавя и кривляясь.

Остальные загоготали, как гоготали всегда, хотя всегда повторялось одно и то же. И так же, как всегда, мне хотелось ответить: «Мой отец погиб на фронте, а твой – где?» – ответить и посмотреть, что он на это скажет.

Но я молчал, смутно чувствуя унижительность такого ответа.

– Жид, – сказал он, – жид пархатый! – и придвинулся ко мне.

Теперь мы стояли с ним грудь в грудь.

Он был ниже меня, и на костылях, я мог бы сшибить его одним толчком, ударом. Но именно этого я и боялся. Мне теперь особенно ярко представилось вдруг, как я тем самым кулаком, в котором справка о смерти деда, бью его в ненавистное бледное лицо, в узкий подбородок, и он падает назад, раскорячив костыли, падает – и разбивает череп о булыжник и потом лежит на кровати, под белой простыней, как мой дед.

– Отойди, – сказал я, – мне ведь некогда. И я не жид, я – еврей, понял?

– Жид, – сказал он. – Все евреи – жида, в чемоданах золото прячут!..

– Дурак, – сказал я.

Мне уже не терпелось, чтобы он скорее ударил меня, и он ударил – своим острым, жестким, хорошо знакомым кулаком в крупных бородавках. Он попал мне куда-то пониже ребер, и на секунду я лишился дыхания. Потом дыхание снова вернулось ко мне, но я не тронулся, не попытался даже убежать. Отец мой был офицер, он погиб на фронте, и я не мог бежать от маленького, ниже меня калеки на костылях. Но и ответить ударом на удар я не мог. И не мог отвернуться, когда он опять ударил меня, на этот раз в лицо, – я не хотел, чтобы подумали, что я боюсь, когда бьют в лицо, – боюсь боли. Я только смотрел ему в посветлевшие, почти белые от злобы глаза.

Поблизости от дома я спустился в арык, смыл кровь и пятно на рубашке.

В нашем дворе, в тени забора и на террасе, сидели и стояли чужие люди, старики в черных жарких пиджаках что-то бормотали друг другу, сбиваясь на крик, им вторили женщины, азартно мешая русские слова с еврейскими, которых я не понимал, и весь наш двор, наполненный голосами, странно напоминал базар, где ничего не продают и ничего не покупают.

Ко мне оборачивались, меня горестно разглядывали, меня гладили по голове, по плечу, но мне были неприятны эти чужие, жалостливые прикосновения, и я, торопясь, протискивался к входной двери. Там стояла наша хозяйка, она схватила меня за руку и повела к себе за перегородку, отделявшую часть террасы. Здесь на столе горкой лежали огурцы, помидоры, в широкой чашке было молоко.

– Поешь, – сказала она в ответ на мои слова о справке, – отдашь еще, успеешь... Тут евреи приходили, которые молятся и все делают, что надо, так они ничего делать не стали, потому что не ваши евреи, а бухарские... Пошли других искать.

– А какая разница, тетя Нюра? – сказал я.

– Не знаю, – она пододвинула мне чашку, но пить молоко я не стал. Я почувствовал, что есть и пить сейчас было бы изменой, предательством, и пошел в дом.

После яркого полдня здесь казалось темно, горели свечи, их живые огни освещали остроконечное лицо деда во впадинах щек, и на подбородке чуть заметно шевелились тени, он лежал на столе, но стол был короток, под ноги ему поставили чемоданы, один на другой. Чемоданы с золотом, подумал я.

Бабушка сидела у изголовья – она была крупная, рослая, а тут показалась мне не похожей на себя – маленькой, сгорбленной старушкой, будто что-то у нее внутри сжалось, ссохлось. Я подошел к ней, протянул справку. Она взяла ее каким-то мягким, безвольным движением и опустила руку на колено, не посмотрев на меня.

– Ты иди, – сказала она тихо. – Нюра тебя покормит... Иди...

Тогда я заплакал.

То есть я только потом понял, что плачу, а тогда я просто подумал – и вспомнил – о чем?.. О том, На Костылях, который ежедневно избивал меня под гогот других мальчишек и которого я никогда не смогу ударить, и так будет долго, всегда; о своем отце, как приезжал он к нам в последний раз, молодой, похудевший, и давал мне подержать, погладить свой наган, – он сам, показалось мне тогда, держал его не очень уверенно; я подумал о бухарских евреях, которые пришли и ушли, потому что мы – «не наши», и снова – о чемоданах с золотом и о том, как я ерзал и ворочался, пытаясь вспугнуть деда, крадущегося к сахару; я подумал о том, как он когда-то приносил мне «гостинчик» – петуха на палочке или свисток, и сажал на свои острые колени, и от него так уютно и крепко пахло табаком. Я подумал о том, какой я жестокий, злой, нехороший человек и как я пришел сюда утром и не плакал, и почти радовался, что дед мой умер. Я просто думал обо всем этом, а потом заметил, что стою у бабушки между колен, вжимаясь лицом в ее плечо, и пытаюсь зажать себе рот, и не могу, не могу, и она гладит меня по голове, и вокруг – люди, какие-то совсем чужие, ненужные люди, и дед на столе, и все, как я слышал и читал где-то, и бабушка гладит меня по голове, как маленького, хотя мне уже десять лет, и говорит тихо:

– А ты поплачь, поплачь...

1968 г.

13

– Между прочим, – сказал я, вручая рассказ Толмачеву, – здесь все, как было, ни слова выдумки...

На другой день он вернул мне мои странички:

– Хороший рассказ. Что ж ты его не напечатал?

Я не стал повторять всего, о чем говорил прошлый раз. Я спросил:

– А теперь ты его напечатает?

– Ну, – сказал он, хлопая себя по карманам в поисках не то сигарет, не то зажигалки, – вот если бы ты написал еще два-три рассказа... Вместе с ними... – Не найдя того, что искал, он принялся вытягивать и внимательно, сосредоточенно осматривать каждый ящик стола, за которым сидел.

– То-то же, – счел я нужным поставить над «и» жирную точку. – Я ведь и не предлагаю. Вдруг кому-нибудь придет в голову обидеться?..

Толмачев с готовностью кивал, поглаживая меня благодарными взглядами. А мне припомнился давний случай.

– Как-то, еще в конце шестидесятых или начале семидесятых, когда журнал редактировал наш «старик», а все сотрудники помещались в одной большой комнате, пришел к нам автор... Ты его знаешь, он и теперь изредка заглядывает, но не в имени суть... Так вот, я сидел у себя за столом, в углу, а он рассказывал анекдоты, вокруг него толпились, слушали, смеялись. И был среди его анекдотов один – протухший уже, вонючий анекдот про трусливого еврея, который просит дать ему кривое ружье, чтобы стрелять из-за угла... Думаю, он меньше всего хотел задеть меня, он вообще не замечал меня в те минуты... Но вот прошло столько лет, а я все несу в себе эту тяжесть, этот грех, то есть – стыд за то, что не подошел к нему и не влепил пощечину! Не за себя... У меня до сих пор такое чувство, будто кто-то прилюдно нагадил на могиле моего отца, а я это видел – и не помешал... Понимаешь?

– Да, – сказал Толмачев, – я тебя понимаю.

14

А через неделю состоялась новая планерка...

Она застала меня врасплох.

За эту неделю я окончательно успокоился. Мы часто перезванивались с Володей Берденниковым, Руфью Тамариной, Морисом Симашко, Галиной Васильевной Черноголовиной, с Надей Черновой. Мы были связаны между собой – и работой, и дружбой на протяжении многих лет. Новые публикации в газетах, в толстых журналах, в «Огоньке» вызывали однотипную реакцию. Все мы дышали перестройкой, все досадовали на ее медлительность, на то, что многое в жизни остается по-старому, однако все перекрывали надежды и радость – поскольку хоть и поздно для иных из нас, но все-таки сбывается, казалось, главное, о чем столько лет мечтали... Оценки происходящего были сходными. Отношение к очерку Марины Цветаевой – тоже.

Прошел год со времени декабрьских событий в Алма-Ате. И то, что наблюдалось теперь в Прибалтике, еще кое-где, лишь подтверждало: основное сейчас – перестройка в социальном плане, остальные проблемы – экологические, молодежные и т. д. – будут решены лишь в том случае, если на этом главном направлении добиться победы. Т. е. сломить и заменить административный аппарат, демократизировать общество, изменить ситуацию в экономике. Раздувание, выпячивание второстепенных вопросов ослабит, распылит силы перестройки, сыграет на руку ее противникам. Что же до национальных проблем, то они могут для Горбачева стать тем же, чем для Хрущева оказалась Венгрия, для Брежнева – Чехословакия. Кому-то выгодно сейчас накалять атмосферу, будоражить национальные амбиции. Ничего, кроме внутреннего протеста, не вызывала у меня демонстрация в Москве евреев-отказников: добивайтесь разрешения на выезд, это ваше право, но демонстрировать под лозунгом «Отпусти мой народ!»?.. Это потом я узнал, что слова, с которыми кучка бледных, бородатых, отчаявшихся людей двигались по Арбату, были взяты из Библии, а тогда, увидев их на телевизионном экране, я воспринял вычурно звучащую фразу как нелепость, да еще и с какой-то злобной начинкой. Что значит – «мой народ»? Он ведь и для меня тоже – «мой»! И почему только «мой народ» следует отпустить? Мой – отпусти, а остальные можно не отпускать, так, что ли?.. Но, помимо всего, почему кто-то решает за весь народ? За меня, в частности? Это моя земля, моя страна, я никуда не намерен уезжать, как и сотни тысяч других евреев! Не собирался раньше, тем более не собираюсь теперь, когда в разгаре перестройка!..

Я и потому еще испытывал неприязнь к своим соплеменникам, которые однажды зимним днем прошли по Новому Арбату под прицелами телекамер, в сопровождении разъяренных дружинников, в конце концов их разогнавших, затолкавших в милицейские фургоны, что всегда считал: ни Марк Поповский, ни Александр Галич, ни Наум Коржавин не подались бы за рубеж, если бы годы застоя не кинули каждого из них в диссиденты, не наложили запрет на публикацию произведений, не набросили на горло удавку, не позволяющую не то что говорить или петь – дышать!.. И не уехал бы Виктор Некрасов, не уехал бы Лев Копелев – для них отъезд почти равнялся самоубийству. А уже сейчас никто бы из них не уехал – наверняка!..

Скоро, думалось мне, назовут их не диссидентами, а бунтовщиками перестройки... Скоро!.. А пока... Пока такие демонстрации не приведут ни к чему хорошему. Те, кому ничего не известно ни о «борьбе с космополитами», ни о «деле врачей», ни о дискриминации евреев при поступлении на работу, в институты и т. д., могут поддаваться на агитацию «патриотов» из «Памяти», решить – да, им не дорога Родина, они все продадут за жирный кусок, обещанный им в Америке... И каково придется тем, кому Америка не нужна?.. Вы не верите в перестройку, не хотите в ней участвовать – ваше дело. Но – не мешайте нам, не становитесь поперек!..

И вот в редакции объявили планерку.

Почти вся редакция собралась у него в кабинете, отсутствовали двое – Надя Чернова была в отпуску, Нэля Касенова – на бюллетене.

– Есть разные мнения, – продолжал Толмачев. – Послушаем каждого, я тоже выскажу свое мнение, потом слушаем Герта.

Все было для меня неожиданно: и объявленное внезапно обсуждение, и то, что после всех сотрудников выступит главный редактор, а уж потом дадут слово мне... Такое странное выделение моей персоны меня озадачило. С чего бы это?..

– Кто хочет первый? – пригласил Толмачев. Все молчали.

– Тогда по порядку. Кто у нас крайний слева?.. Киктенко?..

– Я за публикацию, – с готовностью откликнулся молодой (хотя и не так чтобы очень уж молодой) поэт Слава Киктенко, сидевший в углу, полузагороженный книжным шкафом. – Кое-где... если надо... можно сделать в тексте купюры, а вообще – я «за».

Мы никогда не испытывали друг к другу особой симпатии. Но как бы там ни было – бесспорно, что он умница и талант, у него вышло несколько сборников стихов, последний – в Москве. Ему лет тридцать пять, он грузноват, жирок смягчает черты его лица, круглит фигуру. У него темные, слегка сонные глаза с маслянистым блеском, но они холодно и внимательно наблюдают за всем происходящим. Он эрудит, прочитал бездну книг – Фихте, Кант, Федоров... Соловьев, Бердяев, Лосев... И т. д. и т. п.

– У русской прессы издавна существовала одна традиция... – солидно поправив очки, добавляет он. (Ну-ка, – думаю я, – что же это за традиция?.. Вступаться за обиженных? Бросать перчатку правительству? Идти под арест за свои убеждения?..) Там, – продолжает Киктенко, – где по цензурным соображениям делался пропуск, принято было ставить квадратные скобки...

Так-так... Вот в чем, оказывается, славные традиции русской прессы...

– Я тоже – «за», – присоединился к Славе Киктенко новичок в журнале Женя Гуслияров, до того работавший в партийной газете.

Ну, что же... В конце концов, и того, и другого принимал в редакцию Толмачев...

– Я, правда, еще не прочитал, не успел, но если все за публикацию, так и я, – как все громко, с напором проговорил Юра Рожицын.

Всегда мне нравилась его грубоватая прямота, нравился он сам – крепкий, высокий сибиряк, шестидесяти примерно лет, фронтовик... Я немало способствовал его появлению в редакции, помогал – иной раз переламывая себя – пробиться на страницы журнала некоторым его довольно посредственным «военным повестям», зная, что лет десять назад написал он отличную вещь из времен коллективизации, и это – главное. Прежний редактор, перед которым я пытался ее отстоять, заклеил меня «прямым троцкистом» (в те времена не имелось клейма более позорного...), но полгода назад усилиями всей редакции ее удалось напечатать – и Рожицын был наконец по достоинству оценен. Мы проработали в отделе прозы лет шесть-семь, отношения между нами всегда сохранялись товарищеские, чтобы не сказать больше... С недавних пор его выбрали в журнале партторгом.

– Я – «за», – коротко произнес Виктор Мироглов, среди собравшихся – мой самый близкий друг... Я не спрашивал – после того разговора – удалось ли ему прочесть Цветаеву и что он думает по ее поводу. Теперь я это знал.

– «За», – с победной ухмылкой простуженным тенорком бросил Карпенко, не так давно вернувшийся из Москвы после литературных курсов и два-три месяца работающий в редакции, в отделе критики.

Естественно... Да от него я ничего другого не ждал.

– Я за то, чтобы печатать Цветаеву всю, целиком и полностью! – четко, чуть не по слогам произнес Валерий Антонов, глядя на меня в упор. Его глаза, налитые сухим огнем, меня поразили – столько было в них злобного восторга, такая радость от возможности наконец-то

излить, выплеснуть мне в лицо затаенную, скопленную в душе ненависть... Я чуть не вскинул руку, загораживаясь от режущего, слепящего сияния.

Все, все я мог предположить, но чтобы Антонов... Тот самый Валерий Антонов, с которым столько лет, считал я, связывает меня несокрушимая, взаимная, искренняя приязнь... Чтобы и он...

Ну, нет, – подумал я, – много вы на себя берете, ребята...

И когда Ростислав Петров, наш ответственный секретарь, с которым, как и с Антоновым, соединяли меня долгие годы работы и совместно пережитого, когда он, замыкая круг, в своей обычной, раздумчивой манере, не отрывая опущенных глаз от разложенных на столе бумаг, сказал, что тоже полагает – надо, надо печатать... Только, возможно, придется произвести некоторые сокращения... – кроткий, укоризненный взгляд в мою сторону... – тут я не стал дожидаться, пока он кончит журчать и начнет высказываться Толмачев.

– Нет уж, – сказал я, – уж вы простите меня, Геннадий Иванович, но к чему нарушать привычный порядок...

Он оказался как бы отстраненным на время мною от дирижирования послушным оркестром.

– Я против публикации в любом виде, – сказал я, отчетливо сознавая в тот момент, что не проблема публикации здесь обсуждается, а нечто другое, мало связанное с Мариной Цветаевой. – Мое мнение – вещь эта антисемитская. Публикация ее в массовом журнале сейчас, когда национальные вопросы так обострены и болезненны, противоречит духу перестройки. Апелляция к черносотенству не вяжется с позицией, которую до сих пор занимал журнал. Из этого следует, что если все – за публикацию, а я один – против, то дальше работать в редакции я не могу. Не могу и не хочу. Но учтите: эта публикация будет на руку «Памяти»...

– Ты оскорбляешь всю редакцию! – вскочил Рожицын. – Думаешь, что говоришь! – Голос его содрогался от ярости.

– Да и потом еще неизвестно, какая у «Памяти» программа! – поддержал его сидевший рядом Виктор Мироглов. Его басок звучал добродушно-насмешливо. – А что газеты пишут... Знаем сами, как они делаются!..

Я не произнес больше ни слова. Все, что связывало меня с этими людьми, было рассечено, лопнуло, как не выдержавший напряжения канат. И уже не имело значения, что говорил, проборматовывал скороговоркой Толмачев, заключая планерку, – в том роде, что нужно сделать купюры, а когда их сделают, мне покажут материал... Это уже ничего не значило. Поскольку теперь был «я» и были «они»...

Планерка закончилась. Я вернулся в свой отдел – узкую комнатку, тесно заставленную четырьмя столами. В распахнутую дверь Мироглов крикнул мне:

– Идем кофе пить!

Вся честная компания шумно направилась в бар. Кто-то поддержал его, позвал меня...

– Спасибо, – сказал я. – Что-то не хочется.

16

В отделе толклись авторы, Рожицын с кем-то разговаривал по телефону...

Я взял со стола первый попавшийся лист бумаги, написал заявление. Написал, почему я ухожу из редакции, почему прошу освободить меня от членства в редколлегии. Написал об интернационалистических традициях, за долгие годы сложившихся в журнале, упомянул о «Памяти»... Видно, Рожицын понимал, о чем я пишу, и, когда я поднялся, рванулся было меня остановить:

– Юра, не делай этого!

Я вошел в кабинет к Толмачеву, положил заявление на стол. Вид у него был растерянный.

– Так я и знал... – пробормотал он. – Знал, что ты это сделаешь.
– Кажется, по КЗОТу после подачи заявления полагается отработать двухмесячный срок? – сказал я.

17

В тот день по дороге домой – был декабрь, небо как серый войлок, мокреть под ногами – мне вспомнилось майское утро 1965 года, белая, вся в цвету, яблоня под нашими окнами, подрулившая к подъезду машина, из которой вышли – оба в белых, с короткими рукавами рубашках – Морис Симашко и Николай Ровенский, молодые, энергичные, слегка загадочные... Они поднялись к нам, на верхний этаж еще не обжитого, пахнущего краской, недавно заселенного дома.

– Поехали, одевайся... Зачем?... Потом узнаешь.

Всю дорогу до редакции оба смеялись, болтали о том и о сем, подшучивали над моим недоумением... В кабинете редактора журнала, куда меня почти насильно втолкнули, навстречу мне поднялся из-за стола Иван Петрович Шухов, маленький, губастый, подслеповатый. Обнял, усадил, посопел, поправил очки с толстыми стеклами на широком, картошкой, носу.

– Вот какое дело, Юра, – сказал он, – мы тут подумали– подумали и решили предложить вам поработать у нас в редакции... Как вы на это смотрите?

«Поработать...» Что это значит?... Я не верил своим ушам – неужели меня и вправду в журнал приглашают? Это имел в виду Иван Петрович – или я не так его понял?..

Но так оно и было – меня приглашали в журнал. Полгода назад я приехал в Алма-Ату из Караганды, где работал в молодежной газете, потом литконсультантом в отделении Союза писателей. У меня вышли две книги – одна в Петрозаводске, там я служил в армии, другая – роман «Кто, если не ты?...» – в Алма-Ате. О нем много писали в газетах, от читателей шли в издательство пачками письма... Но все равно – работать в журнале, который возглавлял Иван Петрович Шухов, где работали Ровенский, Симашко, Щеголихин... Где печатали Платонова, Паустовского, Мандельштама... Это было вряд ли осуществимым счастьем!

Я попросил месячную отсрочку – закончить роман «Лабиринт»... И спустя месяц приступил к работе – в отделе прозы. Просыпаясь по утрам и вспомнив о редакции, я встречал каждый новый день как праздник, незаслуженный подарок судьбы. Когда через год или два мы приняли на работу молодого журналиста из комсомольской газеты и в его жаргонистой речи замелькало словечко «контора» в применении к нашей редакции, оно звучало для меня святотатственно: журнал был содружеством, братством, соединявшим всех нас духовно, а никак не «конторой», «службой». Случалось всякое – и обиды, и ссоры, но они забывались, таяли, как дымок, уносимый ветром. Дело, которое для нас было священным – Двадцатый съезд и обновление литературы, всей нашей жизни, – перекрывало все остальное.

Домбровский, Казаков, Марк Поповский и его «1000 дней академика Вавилова»... Таким до того, как отстранен был – то ли Сусловым, то ли Кунаевым – Иван Петрович от редакторства, сложился и навсегда остался в сердце моем журнал. Да и – в моем ли только? С ним связаны были особой, трепетной связью Галина Васильевна Черноголовина – отважная наша «Черноголовка», как ласково называл ее Домбровский, и уже упомянутые мной Симашко и критик Ровенский, и покойный ныне Алексей Беянинов, и Павел Косенко, и Владилен Берденников, и Иван Щеголихин, и Ростислав Петров, и Валерий Антонов... «Лучшие годы нашей жизни» – вот чем для каждого был журнал, по крайней мере – для большинства из нас... Потом наступили годы безвременья, застоя – долгие и пустые, о которых почти нечего вспоминать... Но коллектив редакции в чем-то главном, казалось, сохранил, сберег себя... И вдруг...

И вдруг... – подумалось мне. – И вдруг... И вдруг... А вдруг я все осложняю? Вдруг раздуваю из мухи слона? Воображение, взвинченные нервы – и легкие, для других, да и для тебя самого в прошлом незаметные внешние импульсы вдруг оказываются способны изменить настроение, перевернуть мир вверх тормашками, рассорить с людьми, которые не думали ни о чем плохом... А потом уже не остается ничего другого, как упорствовать в своей ошибке, своем никчемном озлоблении, яриться на всех вокруг, а надеде – на самого себя... Где, в чем гарантия того, что прав я, а они, вся редакция – неправы?..

Я ехал домой на автобусе, положив на колени дипломат, и смотрел на серое небо, серые дома, серую дорогу... И нечаянно, словно по какой-то инерции, под напором, идущим извне, представился мне какой-то такой же серый, незнакомый мне город, автобус, только слякоти поменьше на ухоженных тротуарах... Но тоже едет, положив – ну, не дипломат, а портфель к себе на колени – какой-то человек, и пасмурно, гадко у него на душе, поскольку поссорился он у себя в редакции, где старый и добрый его друг Фриц Мюллер или там Густав Кригер сказал ему, что как еврейю ему не дано постичь подлинное величие Гете... Или, к примеру, что если бы не евреи, шпионившие в пользу Антанты, Германия наверняка бы выиграла Первую мировую войну... Что же, – сказал бы себе тот человек, с портфелем на коленях, – может быть, я напрасно кипятился?.. Да, мой отец не был шпионом, он был солдатом и погиб в сражении на Марне за свое немецкое отечество, но кто знает? – может, были в самом деле еврей-шпионы?.. Фриц и Густав – мои хорошие друзья, мы вместе учились в гимназии, какое у меня право пятнать их честные имена гнусными подозрениями? Обобщать?.. Связывать их с лозунгами, которые как-то раз я видел из окна этого же автобуса, – их несли какие-то молодые люди, одетые в черные рубашки, прикидываясь бывальыми солдатами, и печатали шаг – очень четко и очень громко, и что-то такое пели – «Хорст...» или – «Ферст...» И, кажется, «Вессель...» – что-то в этом роде... Стоит ли придавать значение тому, что сказали – и, по- моему, сами почувствовали себя неловко – мои друзья Фриц Мюллер и Густав Кригер... И стоит ли обращать внимание на этих молодчиков – кстати, не в черных, а коричневых, я спутал – рубашках... Ведь у нас на дворе не время крестовых походов с их погромами и резней, а – слава богу, 192-такой-то год, и мы живем в демократической Германии, Версальский договор гарантирует нам спокойствие и порядок... Нам – то есть и нам, евреям...

Так, вполне возможно, – думал я, – рассуждал тот человек – и откуда ему было знать, что случится вскоре с его милой Германией, с его добрыми друзьями Фрицем и Густавом, с ним самим?..

19. «К русским студентам»

«Россия, Отчизна наша, переживает судьбоносную пору. После долгих лет лжи, насилия и лицемерия она постепенно становится более открытым и честным государством. Благодаря этому мы наконец-то узнали о бедственном положении страны: наша экономика топчется на месте, спрут бюрократии душит все живое, русская нация вымирает, наука отстала, образование неэффективно, коррупция стала вездесущей. С ужасом мы узнали и о другом – о чудовищном истреблении нашего народа, который после революции потерял от рук опричников власти 40 миллионов человек, в четыре раза больше, чем за все войны с петровских времен, не считая последней.

Особенно пострадал русский народ и родственные ему украинский и белорусский народы. Наш триединый народ, отдав все для победы в самой кровопролитной войне, сегодня сделан самым обездоленным, униженным и нищим. Попав в Прибалтику, Закавказье или Сред-

нюю Азию, любой русский сразу чувствует, как не уважает и презирает его коренной тамошний житель. Русский видит также, сколь зажиточнее и лучше живут они, и в удивлении спрашивает: как и когда все это произошло? Почему Россия, некогда богатая и жизнеспособная страна, ныне плетется не только в хвосте народов мира, но и в хвосте народов СССР? Ответ известен – окраины долгими десятилетиями пользовались льготами и денежными дотациями, которых сознательно лишали Россию и которые давались в основном за ее счет!

Все ли, однако, помнят, что издавна Отечество наше именовалось Россией? Многие ли из нас чувствуют гордость при одном звуке этого имени? Все ли из вас ощущают себя потомками русских, создавших великую державу и ее мировую культуру? Ведь сейчас достаточно произнести "я – русский", чтобы в ответ услышать нагло-циничный вопрос: вы шовинист? Слово же "Россия" у некоторых вообще вызывает приступ яростной злобы и ругани. Вот он – зримый итог насильственного интернационализма, стремящегося все народы слить в серую и безликую массу. Более полувека нас заставляли и заставляют забыть, кто мы и кто наши великие предки!

...Опустошить, увести вас в сторону от решения национальных проблем хочет сегодня "малый народ", точнее, его весьма обширная националистическая элита, которая вот уже целое столетие силится подмять под себя славянские народы нашей Родины и прежде всего великий русский народ. Крайние шовинисты по существу, ура-интернационалисты на словах – еврейские националисты составляли большинство в первом советском правительстве (в нем на 22 человека было лишь двое русских)⁴ и в аппарате насилия (ВЧК, ОГПУ, НКВД), на страшном счету которого десятки миллионов человеческих жертв. Они были большинством среди крупных функционеров власти, которые, не дрогнув, приказывали взрывать наши храмы, расстреливать и гноить в лагерях как "классового врага" цвет нации. Ведь это был не их, а чужой и ненавидимый ими русский народ!

Сегодня националистическая еврейская элита оккупировала русскую культуру, науку и прессу. Люди еврейской национальности, которая насчитывает только 0,69 % в общем составе населения (без учета лиц, которые маскируются русской фамилией и национальностью), заняли до 30 % ведущих должностей.

Из этого народа – 45 % всех докторов и кандидатов наук, но рабочих из него – лишь горстка. Высшее образование имеет 70 % евреев, втрое больше, чем русские. В стране, причем достаточно давно, образовалась очень влиятельная, спаянная мафия, которой чуждо или ненавистно все русское, все близкое и дорогое нам.

Активно участвуя в изничтожении русского народа, сегодня еврейские шовинисты преданно служат системе и бюрократии. Членов партии среди евреев пропорционально вдвое больше, чем среди русских! Ныне они сумели стать главными "прорабами перестройки", которую вполне сознательно направляют в тупик, чтобы вызвать народное недовольство и ради своей выгоды разжечь новую братоубийственную смуту. Для этого они ретиво действуют и на другом фланге – среди левых неформальных объединений, "Демократического союза", "Народного фронта" и разных клубов. Ловко спекулируя на законных требованиях людей, еврейские националисты опять лезут в революционные вожжи с целью растлить и расшатать общество. Но нам не нужна новая братоубийственная смута!

Нам нужна Россия – великая, свободная, нравственная держава!

...Сегодня "Память" бьет в набат – МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ – в великой беде и опасности! Ему грозят великий кризис и крах! Пришло время действовать сообща, смело, по-суворовски, вместе с ВАМИ – русскими студентами и всеми, кто понимает и сочувствует нашим бедам. Не дадим врагам лишить Россию ее величия, самобытности и достойного места в мире! Родина у нас – одна и мы несем ответственность за ее судьбу.

⁴ См. с. 392–394.

Разъясняйте для спасения Родины цели "Памяти", обличайте, устно и письменно, ложь и клевету на нее, давайте отпор хулителям, создавайте группы "Памяти" в своих вузах! Бойкотируйте преподавателей-сионистов, выдвигайте и поддерживайте русских преподавателей и ученых, стоящих на патриотических позициях! ЗНАЙТЕ – НИКТО кроме "Памяти" не выступает в наши дни за подлинное возрождение и спасение русского народа и братских славянских народов. Если вы любите Родину и верно понимаете ее трагедию – ваше место в рядах национально-патриотического фронта "Память"!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! ДА СГИНУТ ЕЕ ВРАГИ!

Ленинградский совет НПФ "Память"»

Эта листовка – одна из многих – распространялась между ленинградскими студентами, ее принес мне сосед, чей сын учится в Ленинграде. Слово «листовка» не случайно произведено от слова «лист»: нужно иметь семя, нужно иметь плодородную почву, нужно позаботиться о том, чтобы почву эту взрыхлить, посадить в нее семя, засыпать сверху землей, поливать, ухаживать, растить, дожидаться терпеливо, упорно, пока деревце подрастет, раскинет ветки, покроется почками, потом густой листвой – только тогда ветер сорвет и разнесет по городу, по улицам и подворотням листья-листовки, подобные этой... Кто-то подготавливал почву, закладывал семена, растил-взрачивал поначалу робкий, слабый стебелек... Кто? Зачем?..

20

Собственно, я давно собирался уйти из журнала. Нездоровье, постоянная редакционная нервозность, чтение и подготовка к печати рукописей, не оставляющие ни сил, ни времени для собственной работы... Собирался уйти при прежнем нашем редакторе, потом появился Толмачев, развернулась перестройка – возникли условия для живого, настоящего дела... Но последнее время я начал все острее чувствовать расхождение с Толмачевым, с теми, кого принимал он в редакцию. И все же никак не думал, что уходить придется в подобной ситуации. Жена, если я заговаривал об уходе, возражала: разве ты сможешь без редакции? Без общения с людьми? В одиночестве?.. Мне тяжело было признаться ей, что я подал заявление. И, чтобы не тянуть, я сделал это, едва переступив порог.

Даже в полутемной прихожей я, казалось, увидел, как она побледнела. Но тут же услышал:

– Ты поступил правильно. Другого выхода у тебя не было.

Под утро мы оба встали, подошли к постели маленького нашего внучонка – Сашеньки, проверить – не раскрылся ли, не мокрый ли... Обоим не спалось в ту ночь.

– Я все лежу, думаю, – сказала жена, – как же так? Что произошло? Ведь тебя всегда так уважали...

Что я мог ей ответить?

21

О, черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора – пора – пора —
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей

Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь быть...

В те дни мне часто вспоминались – да и сейчас вспоминаются – эти цветаевские строки...

22

Больнее всего в этой истории ударили меня слова Антонова. Даже не слова – нацеленный в упор взгляд, в котором, как осколок стекла, так и сверкала ненависть...

Вот где заключался мучительный, до сих пор саднящий мне душу вопрос: что же произошло?..

Ведь Валерий Антонов... Как бы это сказать... Ум, талант, красноречие – да, все это я всегда ценил в нем, однако – не только это... И, может быть, вовсе не это было в нем для меня главным. А редкостный дар – уловить малейшие оттенки настроения другого человека, выслушать его, дослушать до конца – и разделить гнев, смутнение, тоску, переполнявшие всех нас многие годы. Разделить – и облегчить сердце – когда словом, когда обоюдным молчанием. Порой ведь важнее, значительней любых слов такое молчание с переплетающимся в воздухе дымком двух сигарет. А иногда, помолчав, с какой-то виноватой улыбкой в глазах – разноцветных, один – голубой – посветлее, другой потемнее – он говорил, тронув ладонью лохматую рыже-русую шевелюру на лобастой голове: «Хочешь, тебе почитаю?.. Сам не пойму, что у меня на этот раз получилось...» Он читал стихи, я слушал. Мы не были друзьями в расхожем смысле слова и не так-то много времени проводили вместе, но соприкосновение душ – что может быть выше в мужской дружбе?..

Мало того. Много лет назад, в ответ на антисемитский выпад в адрес журнала, исходивший от сановного литературного чиновника, мы с Валерием не смолчали, а вдвоем потребовали разбора этого дела на русской секции... Чем вызвали немалый переполох с последующим вызовом в идеологический отдел ЦК КП Казахстана и грозной накачкой – за «потакание вражеской пропаганде», твердящей о существовании антисемитизма в СССР... Помню, как потом, по дороге из ЦК в редакцию, мы завернули в скверик, чтобы прийти в себя, и, сидя на лавочке, то хохотали, то матерились, но было так горько, так тоскливо обоим – дальше некуда...

И в то же примерно время, в начале семидесятых, покончил с собой автор нашего журнала, филолог, преподаватель пединститута Ефим Иосифович Ландау. Ему было около пятидесяти, жил он одиноко, погруженный в докторскую диссертацию, посвященную творчеству Эренбурга, и – едва ли не единственный в Союзе написал и успел опубликовать рецензию на «Теркина на том свете» Александра Твардовского, – сатиру, напечатанную по высочайшему капризу, но вскоре же фактически запрещенную... Твардовский прислал ему растроганное письмо. А через недолгое время Ландау объявили не то еврейским националистом, не то прямым сионистом, к тому же поползли, зазмеились неясного происхождения слухи о золоте, якобы посланном Ландау в Израиль (опять – золото!.. Золотые слитки!..), и о каких-то чуть ли не агентурных связях его с иностранной разведкой. Трижды являлись к нему из органов, переворошили всю квартиру, всю огромную, уникальную библиотеку, на которую Ландау тратил две трети зарплаты, что-то искали, вчитывались в дневник, допрашивали, писали протокол за протоколом – в заключение, когда однажды рано утром снова позвонили или постучали к нему в дверь, он выскочил на балкон и прыгнул вниз с четвертого этажа...

Он бывал у нас дома и всякий раз приносил Марише, нашей дочке, только начавшей ходить в школу, по шоколадке... Два опера явились ко мне на работу в день его гибели, повезли в машине, с решеткой на крохотном оконце, к нему домой – я еще ни о чем не догадывался, не

знал, куда и зачем меня везут, воображение рисовало мне разные варианты, в соответствии с временем, наступившим после суда над Синявским и Даниэлем, одного лишь не мог я предположить – того, о чем услышал, когда передо мной распахнули дверь квартиры Ландау и, увидев за нею незнакомых людей, я вдруг почуял в воздухе отчетливый запах смерти...

Так вот, тогда, когда за демонстрации подобного рода в лучшем случае можно было лишиться работы, оказаться исключенным из плана в издательстве и т. п., Валерий Антонов, как и еще несколько человек, из тех, кто был куда ближе, чем он, знаком с Ландау, явился на похороны, и мы все вместе поехали на кладбище, вместе – впятером или вшестером – возвращались затемно домой, возле торговавшего водкой киоска чокались полными до краев гравленными стаканами, пили, поминая Ефима Иосифовича – и пожимали друг другу руки, кого-то проклинали, кому-то грозились отомстить... Господи, да скажи кто-нибудь, придай кто-нибудь тогда особенное значение тому, что тот из нас – еврей, а этот – русский, – да его бы попросту не поняли – как если бы он заговорил на каком-нибудь тарабарском языке! А поняв – испепелили презрением!..

Однажды мы отправились в командировку на Мангышлак. Меня тянули те места – каменистая пустыня, такыры на берегах обжигающе-холодного Каспия, нефтяные вышки, маслянистая, черная земля... Фантастический, молодой, многоэтажный город – заключительная глава многоглавой, многотомной истории, в которую я пытался вникнуть, замыслив роман о Зигмунте Сераковском, поляке, революционере, сосланном в эти края в середине прошлого века...

Среди очень разных, но удивительно светлых, прямых, открытых людей, на встречи с которыми нам везло, была журналистка с телевидения: после передачи, в которой мы участвовали, она привезла нас домой: собралась дружная, настроенная на вольный разговор компания – толковали о Солженицыне, «Новом мире», Кочетове, пели, читали стихи. Все было так чисто, раскованно и знакомо, как будто воскресла Караганда моей молодости. Я вспомнил и тоже прочел стихи, написанные то ли в шестнадцать, то ли в семнадцать лет: оставалось еще три-четыре года до «дела врачей», но полным ходом шла травля «космополитов», газеты пестрели фельетонами с подчеркнуто еврейскими фамилиями, именами...

Горько все это было, да еще и в сочетании с радостным чувством победы в Отечественной войне, не успевшем остыть за два-три года.

Еговой изгнанный из рая,
Утратив жизни смысл и цель,
Бредет беспутницей Израиль
С тоской на каменном лице...

Где гордость ты свою развеял?
Где ум, паривший высоко?
Ты позабыл о Маккавеех,
Ты не рождаешь больше Кохб!..

Бессилен сердцем и бесплоден
В улыбке судорожной рот,
И ни народа нет, ни Родины,
Что ж есть?.. Еврейский анекдот.

Помню, я прочел эти стихи – и в меня ударили молнии! Как это так?.. Откуда я взял?.. Я пытался объяснить, в какую пору стихотворение было написано, – где там! Меня и слушать никто не хотел. Разве все мы – не братья, которых давит один и тот же пресс, душит одна и та же петля? Разве не одна и та же многострадальная, израненная земля у нас под ногами?.. Мне

и стыдно, и сладко было от этих упреков. Антонов петушился, укорял меня яростней всех. А потом, возвратясь в Алма-Ату, прочел мне стихотворение, которое сложилось там же, на Мангышлаке. Были в нем, помимо прочего, такие строки:

Юра, Юра!
Шевелюра,
Юра, Юра – голова,
Что глядишь, дружище, хмуро?
Все на свете —
Трын-трава.

Как мне дорог этот профиль,
Этот на сторону нос
И над чистым глазом брови
Грустно вскинутый вопрос.

Как добрею я от фаса,
Где ни грана суеты,
Где одна святая фраза только:
«Кто, если не ты?..»

Юра, Юра!
Где бандура,
Ссылка, каторга, тюрьма?
Как бы жить, не зная чура,
И, сходя, сводить с ума.

Как вот этот Каспий синий,
Что от зубьев белых скал
До Кавказа,
До России
Плес покатый расплескал —

И волнуется, зверея,
И бросается, скорбя,
На чалдона и еврея.
На меня и на тебя.

Стихи эти были впоследствии напечатаны в сборнике Антонова, в посвящении значилось мое имя. Цензура, правда, покалечила кое-какие строки, но не в том суть... Стихи Валерия, и эти, и многие другие, он сам – небольшого, как и я, роста, плечистый, надежно-устойчивый, несмотря на давнюю, с детства, хромоту, – год за годом помогали двигаться в серых сумерках, надеяться, не изменять себе, и не так-то много было таких родившихся у меня на глазах стихов, таких людей...

Так было... Что случилось потом?..

Так было... Однако ведь свою книгу, вышедшую недавно, я отчего-то не подарил Валерию. Собирался подарить, как случалось раньше, да так и не подарил. Отчего?.. И последняя моя повесть «Приговор» вызвала у него явное раздражение. Прямого разговора о ней не было,

мы оба его избегали... А полгода назад Валерий написал поэму «Анти» и попросил меня прочесть, предупредив:

– Если тебе не понравится – скажи, и я не стану предлагать ее в журнал.

Я прочел. Меня увлек замысел – осмыслить ошеломившую нас всех бурю декабря 1986 года, осмыслить необходимость мира и взаимопонимания, ради которых предлагалось каждому народу постичь свою вину, точнее – вины перед другими народами... Я сказал Валерию, что поэма – рывок в необходимую и до сих пор запретную тему, я – за публикацию, хотя иные места мне и непонятны, и неприятны. К примеру, где говорится чуть ли не о русофобстве, которое присуще евреям... Или – отсекается возможность их равноправного участия в литературном процессе, поскольку русский язык – не язык их предков... Или такие строки:

Разумному, честному учат.
Высокому, вечному – нет...

Не слишком ли категорично? Библия – это что: «разумное, честное» или «высокое, вечное»? Или то и другое сразу?.. И тогда – как быть с пятым пунктом у ее авторов?.. Да и можно ли так – по составу крови – квалифицировать и классифицировать творчество Твардовского и Слуцкого, Светлова и Вознесенского, Багрицкого и Куняева? Как-то сомнительно выглядит расовый принцип в искусстве...

Кое-что в поэме заставило меня вспомнить переписку Астафьева с Эйдельманом. Но вместо того чтобы спорить, я принес Антонову несколько книг. Среди них – пламенно антисемитскую книгу А. В. Романенко «О классовой сущности сионизма» и – контраста ради – стихи и поэмы Бялика, в том числе «Поэму о погроме». Валерий прочел и вернул, не сказав ни слова. Что-то мешало нам продолжить разговор о его поэме...

И вот – теперь...

Выходит – было в нем и раньше нечто такое, чего я не замечал – или предпочитал не замечать?.. Было – или появилось только в последнее время?..

23

А что же Виктор Мироглов? – думал я.

Мы были дружны лет десять. Но еще до того, в 1975 году, когда на меня в очередной раз обрушился с погромной статьей всемогущий в Казахстане критик Владислав Владимиров, умело совмещавший занятия литературой с должностью помощника первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, отозвав меня в конец редакционного коридора, Виктор сказал:

– Если захочешь что-то предпринять против Владимирова, можешь во всем на меня рассчитывать.

Я не знал тогда, почему он это сказал, но в негромком голосе Виктора, в сдержанной, бытовой интонации ощущалась такая решительность, что невозможно было усомниться в его искренности. Мне навсегда запомнилась та минута: заступиться за меня, выступить против любимца Первого значило – рискнуть всем...

Отчаянная эта акция совершилась позже – в 1983 году, когда Галина Васильевна Черноголовина, Мироглов и я добились приема у Кунаева. Обратить его самодержавное внимание на жалкое положение русских писателей в республике, попытаться прекратить не встречающий никаких преград террор Владимирова в литературе – такова была цель. И мы удостоились. И в огромном, скромно-торжественном, украшенном невероятных размеров глобусом (ох уж эти глобусы!..) кабинете высказали все, что полагали нужным. А на другой же день против каждого из нас начали применяться репрессивные меры. Мироглову досталось в особенности: ему пришлось уйти из издательства, где он в ту пору работал, затем из нашего журнала, где глав-

ный редактор был ставленником все того же Владимирова, которого в виде компенсации за причиненный нами моральный ущерб теперь титуловали не просто «помощником», а «ответственным работником ЦК»...

Однако уже близились иные времена. Виктор ездил в Москву, к Горбачеву – он тогда ведал в ЦК КПСС идеологией, о нем шли добрые слухи... Встречи с Горбачевым он, разумеется, не добился, но в приемной на площади Ногина оставил на его имя письмо. Через некоторое время в Алма-Ату прибыла комиссия – два пожилых, деловых, выдавших виды партработника. Они расположились в пустующем цековском кабинете, переговорили с немалым числом деятелей «идеологического фронта», как правило, посаженных в кресла и до полу-смерти запуганных все тем же Владимиром, и в результате обнаруженных фактов Первый лишился своего помощника, Мироглов смог вернуться в журнал, а в Союзе писателей вдруг потянуло сквознячком... Что-то вроде бы кончалось, что-то вроде бы начиналось... Тогда это еще не называли Перестройкой.

Вот чем был для меня Мироглов.

И вдруг...

Ну, да, водились за ним вещи, о которых не хотелось мне думать раньше, не хотелось вспоминать сейчас... Как-то раз в нашем писательском баре, подвыпив, он кричал одному молодому литератору: «Убирайся в свой Израиль!..» Литератор этот, родом из Одессы, был нагловат, но вполне безобиден; что послужило причиной скандала, я не знал, да и знать не хотел, посчитал все случившееся мелочью. И когда возмущались Виктором, защищал его: у кого из нас не бывает срывов?.. Да и сам он, похоже, чувствовал себя виноватым.

И еще: в одной его повести меня остановила двусмысленная фраза... Неловко спрашивать было, но в конце концов я спросил напрямик: «Как ты относишься к евреям?» Язык у меня жгло от этих слов. «Я – как все, – ухмыльнулся Виктор. – Хороших евреев – люблю, плохих – нет. Против Райкина, к примеру, ничего не имею!» Что ж, ответ вполне достоин вопроса... Я постарался его забыть, выкинуть из головы.

Потом доносило до меня кое-какие слухи: «А Виктор-то – черный...» Я не допытывался до подробностей, а говорившие так стеснялись уточнять: все знали, что мы дружим.

Все это мне и теперь казалось пустяком. Виктор нравился мне прямоотой, непоказным мужеством, способностью к поступку – редкостной там, где холуйство, трусость и благоразумие оплетают, как повилка, людей с головы до ног, не дают вольно ступить, свободно вздохнуть... Это примиряло меня с остальным. А остальное... Разрозненные факты сбегались, притягивались один к другому, складывались... Кучка росла...

Полгода назад к нам в город приехал Юрий Афанасьев, ректор Московского историко-архивного института. Он выступил в конференц-зале Союза писателей, сильный, звучный голос его прокатывался над затихшими рядами подобно трубному гласу, от которого, дрогнув, пали стены Иерихона. Дерзкими были его мысли, необычны слова, уверенность, с которой он держался, звала каждого – разогнуться, подняться с четверенек, двинуться вперед. Он хотел встретиться с алма-атинской интеллигенцией – ему не дали: не оказалось свободного зала... Я полагал, Афанасьева все мы восприняли однозначно, и не поверил своим ушам, когда Мироглов и Антонов назвали его «политическим спекулянтom». Почему?.. Этого я не мог понять, но – странная история – расспрашивать как-то не хотелось. Афанасьев ярко, точными, беспощадными словами характеризовал российское черносотенство, тянул от него нить к «Памяти». Может быть, в неприятии Афанасьева почувался мне тогда какой-то эдакий привкус?..

24

После планерки я ждал – Антонов или Мироглов, самые близкие для меня в редакции люди, сразу же позвонят мне – и недоразумение (да, да, всего лишь недоразумение!) будет исчерпано...

Однако никто не позвонил.

25

Нет-нет да и вспоминалась мне фраза Киктенко – насчет квадратных скобок и традиций русской литературы... Чуть что – сейчас же у нас начинают толковать о традициях, продолжении традиций. Только каких?.. Неважно. Важно чувствовать себя «наследниками великих традиций», «продолжателями», «развивателями». Душа при этом воспаряет, гордость распирает, хотя порой всего-навсего речь идет о таких вот квадратных скобках... Да ведь были еще и другие традиции, почему о них-то не вспомнить?

26

«Ввиду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:

1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предпрещается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.

2) Если бы даже и было верно, что тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечивания такого ненормального положения, а напротив, должно побуждать нас к большей снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые нанесены еврейству нашими предками.

3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.

На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России»⁵.

Это обращение было написано философом Владимиром Соловьевым в 1890 году, его подписали Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, профессор Герье, профессор Тимирязев, профессор Ф. Фортунатов, П. Н. Милюков, профессор Столетов, профессор Всеволод Миллер, профессор граф Камаровский, профессор А. Н. Веселовский, профессор Грот и другие деятели литературы и науки, в том числе, разумеется, и сам Владимир Соловьев.

⁵ В. Г. Короленко, Полн. собр. соч. Т. 9.Изд. Маркс, Петроград, прил. к журналу «Нива», 1914. С. 258.

Перед тем Владимир Соловьев обратился к Льву Толстому: «... ходят слухи, в достоверности которых мы имели возможность убедиться, – о новых правилах для евреев в России... В настоящее время всякий у нас, кто не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидом. Вас это, конечно не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли свой голос против этого безобразия». Толстой ответил: «Я всей душой рад участвовать в этом деле... Основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же – сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан».

Такой была одна из традиций, присущих России...

К сожалению, впрочем, лишь одна из традиций. Письмо, составленное Соловьевым, опубликовано не было. «Пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространялись в литературной среде, – писал впоследствии Короленко. – Тревогу подхватила по всей линии антисемитская и ретроградная пресса. К сожалению, я не могу в настоящее время привести здесь лучшие перлы этой односторонней полемики. Самая, впрочем, выдающаяся черта ее состояла в том, что эти господа обрушились не на высказанное мнение, а на самое намерение его высказать... Шумная трескотня возымела обычное действие».

Еще одна традиция российской жизни, находящая продолжение в куда более близкие нам времена.

Что же правительство? Какую позицию занимает оно в противоборстве общественных начал?.. А вот какую.

«В последнее время дошло до моего сведения, что Соловьев сочинил протест против какого-то мнимого угнетения евреев в России... Не сомневаясь, что подобная демонстрация может причинить только вред и послужить на пользу нашим недоброжелателям в Европе, старающимся искусственно возбуждать еврейский вопрос, я распорядился, чтобы означенный документ не появлялся на страницах наших периодических изданий». Так писал министр внутренних дел Дурново в докладе Александру III. Тоже в каком-то смысле традиция... Вплоть до изложения мотивов и даже словаря...

Кстати, «Письмо» Соловьева (Короленко называет его «Декларацией») было-таки напечатано. И в том же 1890 году. Правда – в Лондоне, на английском языке...

Таковы традиции, оформившиеся ровно сто лет назад.

27

«Хочется думать сейчас о России, об одной России, и больше ни о чем, ни о ком. Вопрос о бытии всех племен и языков, сущих в России (по слову Пушкина: "всяк сущий в ней язык"), – есть вопрос о бытии самой России. Хочется спросить все эти племена и языки: как вы желаете быть, с Россией или помимо нея? Если помимо, то забудьте в эту страшную минуту о себе, только о России думайте, потому что не будет ее – не будет и вас всех: ее спасенье – ваше, ее погибель – ваша. Хочется сказать, что нет вопроса еврейского, польского, армянского и проч., и проч., а есть только русский вопрос.

Хочется это сказать, но нельзя. Трагедия русского общества в том и заключается, что оно сейчас не имеет права это сказать... Весь идеализм русского общества в вопросах национальных бессилён, безвластен и потому безответствен.

В еврейском вопросе это особенно ясно.

Чего от нас хотят евреи? Возмущения нравственного, признания того, что антисемитизм гнусен? Но это признание давно уже сделано. Это возмущение так сильно и просто, что о нем почти нельзя говорить спокойно и разумно; можно только кричать вместе с евреями. Мы и кричим.

Но одного крика мало. И вот это сознание, что крика мало, а больше у нас нет ничего – изнуряет, обессиливает. Тяжело, больно, стыдно...

Но и сквозь боль и стыд мы кричим, твердим, клянемся, уверяем людей, не знающих таблицы умножения, что $2 \times 2 = 4$, что евреи – такие же люди, как и мы, – не враги отечества, не изменники, а честные русские граждане, любящие Россию не менее нашего, что антисемитизм – позорное клеймо на лице России...

– Что вы все с евреями возитесь? – говорят нам националисты.

Но как же нам не возиться с евреями и не только с ними, но и с поляками, украинцами, армянами, грузинами и проч. и проч.? Когда на наших глазах кого-нибудь обижают, – ? "по человечеству" нельзя пройти мимо, надо помочь или, по крайней мере, надо кричать вместе с тем, кого обижают. Это мы и делаем, и горе нам, если перестанем это делать, перестанем быть людьми, чтобы сделаться русскими.

Целый дремучий лес национальных вопросов встал вокруг нас и заслонил русское небо. Голоса всех сущих в России языков заглушил русский язык. И неизбежно, и праведно. Нам плохо, а им еще хуже: у нас болит, а у них еще сильнее. И мы должны забывать себя для них.

И вот почему мы говорим националистам:

– Перестаньте угнетать чужие национальности, чтобы мы имели право быть русскими, чтобы мы могли показать свое национальное лицо с достоинством, как лицо человеческое, а не звериное...

Почему сейчас, во время войны, так заболел еврейский вопрос? Потому же, почему заболели и все вопросы национальные.

"Освободительной" назвали мы эту войну. Мы начали ее, чтобы освободить дальних. Почему же, освобождая дальних, мы угнетали близких? Вне России освобождаем, а внутри – угнетаем. Жалеем всех, а к евреям безжалостны. За что?

Вот они умирают за нас на полях сражений, любят нас, ненавидящих, а мы их ненавидим, любящих нас.

Если мы будем так поступать, нам перестанут верить все; нам скажут народы:

– Вы умеете любить только издали. Вы лжете...

Но пусть не забывают народы угнетенные, что свободу может им дать только свободный русский народ.

Пусть не забывают евреи, что вопрос еврейский есть русский вопрос».

Так писал Дмитрий Мережковский в статье «Еврейский вопрос как русский вопрос» в 1915 году.

28

«Ненависть к евреям часто бывает исканием козла отпущения. Когда люди чувствуют себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями историческими, то они ищут виновника, на которого можно было бы все несчастья свалить. Это не делает чести человеческой природе, но человек чувствует успокоение и испытывает удовлетворение, когда виновник найден и его можно ненавидеть и ему мстить. Нет ничего легче, как убедить людей низкого уровня сознательности, что во всем виноваты евреи. Эмоциональная почва всегда готова для создания мифа о мировом еврейском заговоре, о тайных силах "жидомасонства" и пр. Я считаю ниже своего достоинства опровергать "Протоколы сионских мудрецов". Для всякого не потерявшего элементарного психологического чутья ясно при чтении этого низкопробного документа, что он представляет наглухо фальсификацию ненавистников еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в департаменте полиции. Он предназначен для уровня чайных "союза русского народа", этих отбросов русского народа. К стыду нашему, нужно сказать, что в эмиграции, которая почитает себя культурным слоем,

"союз русского народа" подымает голову, мыслит и судит о всякого рода мировых вопросах. Когда мне приходится встречаться с людьми, которые ищут виновника всех несчастий и готовы видеть их в евреях, масонах и пр., то на вопрос, кто же виноват, я даю простой ответ: как кто виноват, ясно кто, ты и я, мы и есть главные виновники... Есть что-то унижительное в том, что в страхе и ненависти к евреям их считают очень сильными, себя же очень слабыми, не способными выдержать свободной борьбы с евреями. Русские склонны были считать себя очень слабыми и бессильными в борьбе, когда за нами стояло огромное государство с войском, жандармерией и полицией, евреев же считали очень сильными и непобедимыми в борьбе, когда они лишены были элементарных человеческих прав и преследовались. Еврейский погром не только греховен и бесчеловечен, но он есть показатель страшной слабости и неспособности. В основе антисемитизма лежит бездарность...

Обвинения против евреев в конце концов упираются в одно главное: евреи стремятся к мировому могуществу, к мировому царству. Это обвинение имело бы нравственный смысл в устах тех, которые сами не стремятся к могуществу и не хотят могущественного царства. Но "арийцы" и арийцы-христиане, исповедовавшие религию, которая призывала к царству не от мира сего, всегда стремились к могуществу и создавали мировые царства. Евреи не имели царства не только мирового, но и самого малого, христиане же имели могущественные царства и стремились к экспансии и владычеству.

Неверно и то, что Россией правят евреи. Главные правители не евреи, видные евреи-коммунисты расстреляны или сидят в тюрьмах. Троцкий есть главный предмет ненависти. Евреи играли немалую роль в революции, они составляли существенный элемент в революционной интеллигенции, это совершенно естественно и определялось их угнетенным положением. Что евреи боролись за свободу, я считаю не специфической особенностью евреев, а специфической и отвратительной особенностью революции на известной стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой роли. Евреи же наполняют собой и эмиграцию. Я вспоминаю, что в годы моего пребывания в Советской России, в годы коммунистической революции еврей, хозяин дома, в котором я жил, при встрече со мной часто говорил: "Какая несправедливость, вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать за то, что Троцкий еврей...". Печальнее всего, что реальности и факты не существуют для тех, мышление которых определяется... аффектами и маниакальными идеями. Более всего тут нужно духовное излечение».

Так писал Николай Бердяев в статье «Христианство и антисемитизм» в 1938 году.

29

Традиции, традиции... С одной стороны – традиция Соловьева, Толстого, Короленко, Бердяева. С другой – графа Дурново, «Союза русского народа», Лидии Тимашук. Которая из них возобладает в наши дни?..

30

Под Новый год обычно трещал телефон, звонили друзья, знакомые, сотрудники по редакции. На сей раз из работников журнала позвонили только Мироглов и Петров. Наши взаимные поздравления, пожелания были какими-то неловкими, принужденными. Никто ни словом не коснулся происшедшего. Петров спросил, стану ли я дежурить по номеру, я ответил, что возьмусь за читку листов, уже принесенных из типографии, сразу же после Нового года. И взялся. В первые дни января наступившего 1988-го приходил в журнал только для того, чтобы отдать прочитанное и запасть новой порцией. По-прежнему думалось: дойдет... дошло... не могло не дойти... Ведь все читают газеты, следят за происходящим в стране... Да и может ли быть,

что в редакции не почувствовали – хотя бы через мое отношение, как его ни расценивай, – до чего все это серьезно...

Тем не менее в чем-то я понимал своих товарищей по редакции (я по-прежнему считал их своими товарищами): никому из них не пришлось пережить, скажем, ночи с 13 на 14 января 1953 года, то есть – пережить такой ночи...

Был холод, мороз – середина студенкой вологодской зимы, снег скрипел под подошвами, казалось, на весь мертвым сном почивший город-городок. Мы с Феликсом Мароном, моим другом, студентом-однокурсником, ходили вдоль набережной – пустынной, безлюдной, слабо освещенной огнями редких фонарей. Смутно мерцала между пологих берегов закованная в лед, засыпанная снегом река. Кое-где, среди приземистых домиков, дремали похожие на нищенок заколоченные или превращенные в склады церквушки, угрюмо высилась громада собора, нависая над казарменного вида зданием нашего пединститута и деревянным, примыкающим к нему домом – студенческим общежитием...

Мы говорили о сообщении, опубликованном в тот день в газетах: арестованы врачи-отравители, в большинстве – с еврейскими фамилиями, упоминалось об иностранной разведке, международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», об известном буржуазном националисте Михоэлсе... Верить или не верить тому, что написано? Тому, что врачи, профессора, цвет нашей медицины – отравили Жданова, Щербакова, хотели убить маршалов и генералов, у них лечившихся?.. Верить или не верить?..

Тут содержалось, как матрешка в матрешке, по крайней мере три вопроса: виновны ли врачи? Если виновны, то ложится ли груз их вины на весь еврейский народ? И если ложится, то что делать, как жить дальше – нам с Феликсом? Ведь выходит, и мы виновны в смертях и отравлениях? Виновны, поскольку – «тоже евреи». А значит уже потому – не такие, как все остальные наши студенты. Какие же мы?..

Сумбур у нас в головах был полнейший. Но не в нем было дело. Мы чувствовали себя раздавленными, отторженными. Заживо вмороженными в лед одиночества. Испакощенными. Облепленными вонючей грязью. Завтра придем в институт – и нас будут обходить стороной, думать: «Эти – тоже... Как те...» Но мы-то здесь при чем? Разве мы кого-то убили? Но кому это важно, убили или нет. Важно другое – мы тоже...

На другое утро, чуть не всю ночь прошагав по набережной – отчаянье жгло, клокотало в нас, не давая замерзнуть, – мы понуро волоклись в институт. Глаза мои были слепы от стыда, я не мог смотреть в лицо своим однокурсникам. Кем был я для них? Любые мои слова, независимо от их сути, могли выглядеть как маскировка... В любых словах, обращенных ко мне, чудился скрытый намек, упрек... И хотя не было случая, чтобы кто-то в самом деле в чем-нибудь меня осудил, упрекнул, хотя, напротив, я замечал и на всю жизнь запомнил скорее сочувственные, соболезнующие взгляды, – все равно: то отчаяние, бессилие отвергнуть вину без вины – оставило на душе шрам навсегда. Прикосновение к нему вызывает боль, которую трудно представить, не испытавши... Ее не испытывали мои товарищи по редакции. И не дай им Бог ее испытать...

Спустя годы именно впечатления той морозной январской ночи легли в основание романа «Лабиринт». Он пролежал в моем столе 20 лет. Год назад я дал его прочесть Толмачеву. Он отверг публикацию романа в журнале, ничем не мотивировав отказ, хотя впоследствии, в порядке компенсации, что ли, согласился поддержать выход «Лабиринта» в издательстве: здесь он уже не нес за него особой ответственности, выступал одним из рецензентов... Что ж, и его я мог понять: ему тоже не доводилось пережить такой ночи...

С давней поры работы над романом у меня сохранились выписки, вырезки из газет. Близилось 13 января – славный юбилей: со времени «дела врачей» минуло ровно тридцать пять лет. Я отыскал в «архиве», сложенном на антресолях, старую папку, смахнул пыль, развязал шнурки...

«... Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Мингер и др.) были связаны с международной еврейской, буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания международной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву "об истреблении руководящих кадров СССР" из США от организации "Джойнт" через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, М. Б. Коган, Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки».

Это выписка из сообщения ТАСС, опубликованного в газетах 13 января 1953 года. «Известия» в передовой за то же число писали:

«Действия извергов направлялись иностранными разведками. Большинство продали тело и душу филиалу американской разведки – международной еврейской буржуазно-националистической организации "Джойнт". Полностью разоблачено отвратительное лицо этой грязной шпионской сионистской организации. Установлено, что профессиональные шпионы и убийцы из "Джойнт" использовали в качестве своих агентов растленных еврейских буржуазных националистов, которые проводят под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе...»

Я читал, перечитывал содержимое снятой с антресолей папки. Коричневый туман обволакивал меня, застилал глаза. Так чувствуешь себя, когда самолет входит в полосу густых облаков, где ни верха, ни низа, нет ориентиров, не видно ничего, кроме белесой мути, и несмотря на вибрацию корпуса, на гудения мотора, начинает казаться, что самолет завяз и висит в пространстве без движения, время замерло, застыло, перестало существовать...

31

В середине января Толмачев снова вручил мне «Вольный проезд» – с купюрами:

– Посмотри, мы тут кое-что подсократили.

– Зачем?.. Ты ведь знаешь мое мнение...

– Все равно посмотри.

– Я принес рукопись домой, перечитал – и снова почувствовал недоумение: неужели Толмачев, Петров, Мироглов, Антонов на самом деле хотят это опубликовать?.. Не может быть! Или я сбрендил, перестал понимать азбучные истины...

32

Я решил показать «Вольный проезд» профессору Жовтису Позвонил, договорились о встрече.

Все, что я знал об Александре Лазаревиче, характеризовало его как щепетильно честного, порой до излишних мелочей принципиального человека. Он с уважением относился к Толмачеву, в прошлом студенту, слушавшему его лекции по русскому фольклору в университете. Что же до меня, то мы с женой много лет были знакомы с Жовтисами – близко, домами. Но – «Платон мне друг, а истина...» Казалось, это изречение придумано как бы нарочно для Александра Лазаревича, и потому не на ком-то другом, а именно на нем я остановил свой выбор.

Но тут имелись еще кое-какие причины. Пока Александр Лазаревич читал привезенную мной рукопись, расположившись за столом, заваленном книгами и типографской версткой, я вспоминал, как выглядела эта же комната с аквариумом и мирно пасущимися между зеленых водорослей рыбками, с картинами, беспорядочно, по-студийному развешенными по стенам, с вырезанной из дерева головой смеющегося старика-казаха в углу – подарком Исаака Иткинда, дружившего с Жовтисом, – как выглядела эта комната после обыска в 1971 году... Что искали те, кому была поручена забота о безопасности народа и государства? Пулеметы? Холодное оружие? Радиостанцию, брошенную ЦРУ?.. Искали «Раковый корпус» Солженицына и пленки с песнями Галича. «Раковый корпус» обнаружить не удалось, его у Жовтиса не было, а Галич отыскался, Жовтис его и не прятал, поскольку Александр Аркадьевич, заезжая в Алма-Ату в конце шестидесятых, до и во время уже начавшихся гонений хаживал к Жовтисам, как делали это и Юрий Осипович Домбровский, и московский переводчик Анатолий Сендык, и многие другие столь же подозрительные с точки зрения КГБ люди... Галич же не только хаживал, но и пел, а Жовтис записывал на магнитофон его хрипловатый голос, записывал неумело, по-любительски, и потом, как бы сохраняя живое тепло и радость, и острую грусть дружеских тех вечеров, голос Галича звучал иногда здесь для тесного дружеского круга... Искали «самиздатовского» Солженицына, искали пленки с Галичем, а в Павлодаре готовилось шоу в стиле блаженной памяти пятидесятых годов: находился под следствием, а затем предстал перед судом Шафер, преподаватель местного пединститута, за ужасающее злодеяние – обнаруженный при обыске румынский журнал со статьей об Израиле («сионистская пропаганда!»), за ходившего по рукам Солженицына («антисоветская агитация!»)... Шафера я никогда не видел, но по рассказам рисовался он мне типичным идеалистом-шестидесятником, романтиком-книголюбом, из тех говорунов, которые до смерти любили за полночь ораторствовать на кухне, а при случае и в более широкой аудитории, порою же, оглядевшись по сторонам и не обнаружив на ту минуту поблизости явного сексота, бросить вольное крамольное словцо... Все мы, «дети Двадцатого съезда», в большей или меньшей степени были такими. Но не всех КГБ, возглавляемый в ту пору Андроповым, приглашал на первые роли. Шафер занял место в цепочке, начатой Даниэлем и Сиявским. На следствии, будучи отнюдь не заговорщиком и конспиратором, а обыкновенным размазней-интеллигентом (опять-таки – как все мы!..), он что-то сболтнул в растерянности о том, откуда у него взялся отпечатанный под копирку Солженицын и у кого находится второй или третий экземпляр... Дальнейшие розыски привели «компетентные органы» к Ефиму Иосифовичу Ландау и уже описанному финалу, другие нити тянулись к столь же грозной «агентуре», в том числе – к Жовтису Я помнил эту комнату после обыска: так же, как сейчас, плавали в аквариуме рыбки, блаженно улыбался иткиндовский аксакал, а в ящике, из которого шел дурной запах, резвились хомячки – тогдашнее увлечение Жовтиса, но все остальное было как бы сдвинуто с привычного места, среди книг, на стеллажах и в шкафах царил полнейший раскардаш, и мы с женой, приехав по звонку Александра Лазаревича, удалясь подальше от телефона, туда, где всего безопасней – на кухню, обсуждали с Жовтисами ситуацию: как вести себя и что отвечать на допросах, как разговаривать с университетской администрацией, которая, разумеется, обязана выразить свое отношение к преподавателю, воспитателю студенчества и т. д. и т. п., оказавшемуся... Надо заметить, и Александр Лазаревич, маленький, сердитый, стремительный в движениях, похожий в своих круглых очках и с реденькими, дыбом стоящими волосами на взъерошенного птенца, и Галина Евгеньевна, его жена, статная, картинно-красивая, с классическими чертами холодноватого, спокойного лица, держались безукоризненно. Деловито. Было решено, что моя жена, которая вот-вот уезжала в командировку в Москву, встретится с Галичем, расскажет, как у нас преследуют за его песни, формально никем не объявленные противозаконными... Это во-первых. А во-вторых – обратится в приемную ЦК КПСС... Мы выглядели – в собственных глазах – многоопытными, знающими толк в правозащитных делах людьми. Но Галич, с которым неделю

спустя встретилась моя жена (на улице, где-то поблизости от Площади Революции: «Дома у меня все прослушивается», – объяснил он), сообщил ей, что недавно одна из почитательниц его песен получила за них в Одессе три года, что происходящее в Алма-Ате – в порядке вещей, а ЦК КПСС... Навряд ли стоит туда обращаться... Ландау покончил с собой. Шаферу дали срок – по-моему, он отбыл в заключении полтора года, Жовтиса выставили из университета, к преподавательской работе он вернулся только спустя восемь лет... И вот теперь, на третьем году перестройки, я сидел у него дома, дожидаясь, когда он прочтет рукопись и выскажет свое мнение.

Теперь уже не у него – у меня возникла «ситуация». Совершенно не похожая на ту, пятнадцатилетней давности... Но тоже по-своему сложная. И вопрос, проклятый и неизбежный вопрос «что делать?» – стоял теперь передо мной.

Именно этот вопрос привел меня к Жовтису. Что до «мнения», то в нем я не сомневался. Поскольку, будучи душеприказчиком А. Б. Никольской, это он предложил нашему журналу ее не опубликованную при жизни повесть «Передай дальше!», имевшую затем серьезный, на всю страну, успех – и не только по причине «лагерной темы»... И это он глубоко возмущен был антисемитскими мыслями прежде высоко ценимого им Астафьева – в переписке с Эйдельманом. И это он обратился с письмом к Даниилу Гранину, доказывая, что никакими нравственными доводами нельзя оправдать пребывание Зубра – Тимофеева-Ресовского в фашистской Германии, его работу в научном, далеко не безразличном для Гитлера институте. И он же наконец за день или два до того, позвонил мне по поводу статьи в «Комсомольской правде», где мимоходом, среди прочих неформалов, помянуты были «наци»:

– Что это такое? «Наци»! – гремел Жовтис, и телефонная трубка в моей руке вот-вот, казалось, не выдержит – и лопнет, рассыпется на мелкие осколки. – «Наци»! Фашисты! Где?.. У нас! И так бесстрастно, перечислительно сообщать об этом в молодежной газете?.. До чего мы дошли!

Короче, я полностью доверял Жовтису, отчего и решил нарушить редакционную этику и попросить его прочесть рукопись. Да и – не самый ли близкий он журналу человек?..

... И я дождался. Жовтис прочел.

– Что же вас не устраивает? – спросил он, помолчав, пожевав губами.

Я объяснил.

– Пожалуй, вы правы, – сказал Жовтис, но как-то вяловато. – И что вы предлагаете?

Я объяснил.

– Так чего хочет, по-вашему, Толмачев? Добиваться популярности любой ценой? Что же, теперь печатать все подряд, если у нас гласность и демократия? Но во имя чего? В чем позиция самого журнала?..

Мало-помалу он разогрелся.

– Купюры?.. Но позвольте, «Современные записки» за 1924 год имеются в Ленинской библиотеке, где, кстати, я в свое время их и читал. Доступ к ним довольно свободный. И если кто-то сравнит их с намечаемой публикацией... Получится скандал: кто дает журналу право произвольным образом уродовать текст умершего автора? Это противоречит элементарным нормам! Так и передайте Толмачеву – противоречит!

Надеялся ли я, что Александр Лазаревич сам сообщит Толмачеву свое мнение? Где-то подспудно такая мысль у меня бродила. Когда ты оказываешься в единственном числе против всех, подтверждение твоей точки зрения даже одним человеком увеличивает твои силы вдвое. А главное – доказывает, что ты не окончательно спятил, твои мысли разделяет кто-то еще...

– И кстати: при всем, так сказать, своеобразии аргументации Марины Цветаевой ее нельзя упрекнуть в антисемитизме. Здесь говорится, что евреи бывают разные: одни за революцию, это плохие, а другие хорошие – те, что стреляют в Ленина, то есть Фанни Каплан, и в Урицкого, то есть Каннегиссер... Но если, как можно понять по сделанным редакцией помет-

кам, «хорошие», то есть Фанни Каплан и Каннегиссер, вычеркиваются, то остаются только «плохие» – и вся внутренняя логика очерка ломается!.. Вы скажите, скажите об этом Толмачеву!..

Он повторил несколько раз, и с нарастающей настойчивостью: «Скажите Толмачеву!..»

– Может быть, вы сами об этом ему скажете? – предложил я.

– Ну, нет, – осекся Жовтис. И поморщился, пожевал губами: – Видите ли, это выглядело бы не вполне этично. Ведь он о моем мнении не спрашивает... – В самом деле, тут ему трудно было бы возразить. Да я и не собирался. – Но если он спросит, – уже более уверенно продолжал Александр Лазаревич, – тогда я изложу ему свою точку зрения. Если спросит...

Я был рад хотя бы тому, что наши мнения совпали в главном...

34

Я был рад этому, но по дороге домой, трясясь в автобусе, идущем по мерзлым серым улицам в сторону моего микрорайона (зима выдалась бесснежная, с липким, сырым морозцем по утрам и вечерам), я вдруг ощутил страшную усталость. Может быть, усталость эта, образуя неведомое науке поле, исходила от унылых, ссутулившихся людей, наполнявших автобус, от их понурых лиц, тусклых, без единой живой искорки глаз, от их портфелей, сумок и авосек, в которых болталась жалкая, случайная добыча, выхваченная в толчее очередей, куда торопились они после работы, – не знаю, но усталость навалилась на меня и проникла внутрь. Как нелепо выглядел я со своими претензиями, своими проблемами-вопросами – среди людей, поглощенных каждодневными заботами о хлебе насущном! Я мотаюсь, треплю нервы – и тем, и другим, и себе, и жене, и Жовтису, который восемь лет был без работы из-за пленок с песнями Галича... Да пропади все пропадом! Что, мне больше всех это нужно?.. И мои «еврейские амбиции»... Ведь и это – игра, не больше! Какой я, к дьяволу, еврей? Ни слова не знаю, кроме «азохен вей», слышал когда-то в детстве от бабушки с дедушкой. Ну, читал и любил – но не так чтобы до беспамятства – Шолом-Алейхема, два года назад впервые познакомился с поэзией Бялика... Что еще? Палестина, Израиль?.. Да если разобраться, мне куда ближе та же Англия: сколько мне о ней известно – книги, театр, Шекспир, «ай эм вери сор ри»... Что я мог, то и сделал: высказал свою точку зрения. Она в редакции известна всем. А остальное зависит не от меня.

35

Тем не менее, чтобы избежать любых кривотолков и внести полную ясность, я, вернувшись домой, сел за машинку и написал:

«Уважаемый Геннадий Иванович!

Я вновь перечитал – теперь уже с обозначенными в тексте купюрами – "Вольный проезд" Марины Цветаевой. И по-прежнему полагаю, что печатать это произведение в журнале сейчас не следует.

1. "Вольный проезд", написанный Мариной Цветаевой в тяжелейший для нее период, имеет явно антиреволюционный, антисоветский настрой, соединенный с изрядной долей антисемитизма. Очевидно, и Вы – хотя бы отчасти – со мной согласны в этом, поскольку намерены сделать купюры.

2. Если иметь в виду биографию Марины Цветаевой, то можно понять, почему в 1918 году "Вольный проезд" был ею написан. Однако почему, с какой целью необходимо печатать эту вещь в массовом литературном журнале в настоящее время?

3. Мне кажется, что "Вольный проезд" вполне уместно было бы опубликовать в собрании сочинений Марины Цветаевой с комментарием,⁶ в нашем журнале вряд ли возможным.

4. "Вольный проезд" был напечатан в 1924 году в Париже, в "Современных записках" – издании, вполне доступном для чтения и в Ленинской библиотеке, и за рубежом. Вполне вероятно, что публикация "Вольного проезда" в нашем журнале, вызывающем всюду немалый интерес, будет иметь определенный резонанс. И тогда простое сопоставление полного текста в "Современных записках" и усеченного в журнале приведут к упрекам в прямом искажении существа материала, к утверждению, что путем обширных купюр Марина Цветаева эмигрантского периода стараниями редакции превращена из врага советской власти в чуть ли не ее друга... И это, по-вашему, будет торжеством истины? Гласности? Демократии?..

5. Как известно, ни одно изменение в тексте, принятом к публикации, не может быть внесено без предварительного согласования с автором. А если автора нет в живых? Тогда его тексты можно препарировать как угодно – так получается?..

6. Думаю, что гласность и демократия предполагают и ясность позиции, и чувство ответственности. Чем руководствуетесь Вы, намереваясь опубликовать "Вольный проезд"? Ведь и Вам, и мне, и всей редакции горько памятна история с резкой критикой журнала в связи с "вредом, наносимым делу интернационального воспитания". Если после публикации "Вольного проезда" журнал обвинят в потакании антисемитизму, в разжигании национальной розни, то обвинение это будет вполне заслуженным.

7. Если бы мной руководило намерение причинить зло журналу и Вам, Геннадий Иванович, лично, я бы поддержал намерение напечатать "Вольный проезд". Но и Вам, и своим коллегам по редакции я предпочитаю говорить резкие и неприятные вещи, исходя из добрых чувств, желая предотвратить в лучшем случае необдуманное, в худшем же – злое дело, противоречащее духу перестройки, как я ее понимаю.

8. Если Вы все-таки решите, что "Вольный проезд" должен быть напечатан, то я считаю, что при этом следовало бы проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по творчеству Марины Цветаевой (например, А. А. Саакянц) и обсудить намерение редакции с членами редколлегии журнала, поставив их в известность и об этом письме, которое носит, как Вы понимаете, отнюдь не частный характер».

*Член редколлегии, заведующий отделом прозы
Юрий Герт*

36

– Ты правильно представляешь дело, – сказал Толмачев, пробежав два моих листочка. – Пускай решает редколлегия.

– И на этом – точка, – сказал я. – Свое мнение я выразил, остальное не от меня зависит.

Выйдя из кабинета главного редактора, я и вправду испытывал облегчение, уверенный, что точка в самом деле поставлена. Я сделал, что мог, и упрекать себя мне не в чем.

37

Сейчас, перечитывая свое письмо, адресованное Толмачеву два года назад, я, в сущности, готов был бы подписаться сызнова почти под любым его словом. Два вопроса, в нем поставленные, кажутся мне узловыми. Первый обозначен в самом начале, там сказано: «антиреволюционный, антисоветский настрой». Злость, досада, ощущение банкротства владеют нами,

⁶ См. с. 390–392.

требуют найти причину долговременных наших бедствий – и во всем винят Октябрьскую революцию. Ругать революцию, поносить Ленина, большевиков сделалось модой, своего рода бонтоном. Однако если недавние молитвы сменяются площадной бранью, она, эта площадная брань, представляется мне зародышем новых молитв. И в самом деле: было бы желание согнуться, хлопнуться на колени, хряснуть об пол привычным к тому лбом – а уж кумиры, идолы всегда появятся. Не новые, так старые: царь-батюшка (кстати, отрехшийся от престола без всякой помощи Ленина и большевиков), великодержавность, триединая формула Уварова, истинные спасители Отечества – Корнилов, Краснов, Колчак. И смешанные с молитвами проклятия Октябрю, сочиненному Лениным и шайкой заговорщиков-экстремистов, узурпировавших власть в процветающей, торжественно шествующей впереди человечества России, полной мира и согласия... Не думаю, что монархизм, неприятие Октября Мариной Цветаевой дают основание уподобить ее какому-нибудь унтер-офицеру-корниловцу готовому положить (а может быть – и положившему!) голову за вполне реального (хотя – вполне ли реального?..) государя-императора... Политика, этика, поэзия – все в ней причудливо соединилось, и чего было больше?.. Ее влек Наполеон. И герцог Рейхштадтский – «Орленок», сын Наполеона, воспетый Эдмондом Ростаном. Их портреты висели над ее девической постелью... Каким рисовался ей Николай II, какого покроя носил одежды, какие слова (скорее – стихи!..) слышались ей излетевшими из его уст?.. Пошлость всегда ее страшила, обязательное для всех – склоняло к бунту. В начале Первой мировой войны, в ура-патриотическом угаре, охватившем Россию (да только ли ее?..), она дерзко, вызывающе бросает:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю,
Ну как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь»,
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!

О какой Германии она писала, кто был ей мил – Людендорф, кайзер Вильгельм, Крупп, германский милитаризм?.. Да нет же – Кант и Гете, Гейне и Лорелея... Можно ли, по законам военного времени, судить ее за предательство, измену, переход на сторону врага («Германия – моя любовь!...»)?.. Законы поэзии не совпадают с положениями Уголовного кодекса.

Монархизм, антиреволюционность Марины Цветаевой требуют понимания, расшифровки. Без этого в коричневом тумане, энергично, с ведома высоких покровителей распространяемом «Памятью», можно перепутать «Современник» Некрасова и «Наш современник» Видулова, как и Марину Цветаеву с какой-нибудь Глушковой...

Мне странно было тогда, два года назад, почему столь простые мысли не приходят в голову самому Толмачеву? И почему я, никогда не бывший членом партии, неоднократно порицаемый не столько изустно, сколько печатно за «идеологические ошибки», «идейные пороки», «огульное охаивание» и «отсутствие положительного идеала» (было даже специальное постановление ЦК КП Казахстана, в котором, среди «порочных», фигурировало и мое имя – рядом с именем Анатолия Ананьева...), – почему я, выходя, защищаю Октябрьскую революцию, я – а не Толмачев?.. Ведь это он носит партийный билет с профилем Ленина, он с молодых ногтей – доверенное лицо этой партии, то главный редактор издательства, то редактор газеты, член – то горкома, то обкома, то есть борец за чистоту партийной идеологии, еще недавно пресекавший самые малые отступления от нее, – отчего же вдруг наши роли вроде бы поменялись?.. Хотя

ведь кто, как не он, руководит журналом, занимает редакторское кресло, которого мне никогда не занять, и кресло это, за которое он держится, напрягая все мышцы, предоставила ему та же партия, она усадила его за редакторский стол, занесла пожизненно в списки номенклатуры, она его выручит, не даст пропасть в любой ситуации, в крайности – пересадит с одного кресла на другое... Тут уж если не искренняя преданность, так хотя бы долг, порядочность велют служить, платить по таксе своему благодетелю...

Вот что было мне странно. И я – в своем письме – думал все еще раз расставить по своим местам, сделать явным, очевидным. И – антисемитские интонации: да нужно было заткнуть уши, залить их воском, чтобы не расслышать хорошо знакомые голоса...

Указывать на них редакции, Толмачеву?.. Тоже странность. И странность, далеко выходящая за пределы «еврейского вопроса». Ведь все мы были здесь, в Алма-Ате, в декабре 1986 года, то есть год назад, в памяти у каждого хранился еще не поблекший, не стершийся снимок тех событий...

38

Помню, утром 17 декабря я заглянул в больницу скорой помощи, к профессору Головачеву, моему «куратору» по медицинской части, и он, чрезвычайно встревоженный, рассказал мне: ночью состоялся городской партактив, ситуация сложная, возможны беспорядки, что же до больницы, то есть распоряжение – на всякий случай готовиться к приему раненых...

Накануне было объявлено, что Кунаев отстранен от должности Первого, вместо него выбран прилетевший из Москвы Колбин, в прошлом секретарь обкома в Ульяновске, а до того – второй секретарь в Грузии, когда во главе ЦК там стоял Шеварнадзе... Говорили, «перемена» произошла ночью, скоротечное заседание бюро длилось пятнадцать минут... Александр Лазаревич Жовтис, с которым мы встретились 16-го вечером в театре, задумчиво сказал: «Это может плохо кончиться...» Я не понял его. Ухода Кунаева ждали, считали predetermined, огромный его портрет, с тремя звездами Героя, висел в центре города рядом с таким же огромным портретом Брежнева, для Казахстана оба олицетворяли эпоху застоя... Как же так? Почему – «плохо кончиться»?.. По пути из больницы в редакцию я думал об этом, сопоставляя прогноз Жовтиса, партактив, растерянность Головачева...

В редакции, находящейся в помпезном здании Союза писателей Казахстана, я услышал, что с утра и здесь, в актовом зале, проходил актив. А часа в три за окнами нашей комнаты, выходящими на главный в городе Коммунистический проспект, возникло невиданное зрелище. Окна располагались на первом этаже, но достаточно высоко над тротуаром, до проезжей части улицы было метров двадцать, ее было хорошо видно – со стороны вокзала по проспекту двигалась довольно длинная колонна, человек на 400–500 состоявшая из молодых людей, лет по 18–20, юношей и девушек, сплошь казахов. Перед колонной несли портрет Ленина и транспарант: «Каждому народу – своего вождя». Демонстранты были возбуждены, у многих в руках – палки с гвоздями на концах, у одного парня я заметил насаженные на длинную ручку вилы. Палки и вилы вскинута были вверх, как острия штыков...

Колонна остановилась перед Союзом писателей, слышались крики, группа юношей отделилась от основной массы и кинулась к входным дверям. Стоявшие в колонне кричали, и кого-то вызывая к себе, я разобрал только «Олжас! Олжас!..»

В двери ломались, колотили кулаками, но то ли двери, защелкнутые на ключ вахтером, оказались крепкими, то ли не столь уж много усилий применяли рвавшиеся в Союз, – в здание никто не проник. Я ждал, что кто-нибудь из писателей-казахов, может быть, сам Олжас Сулейменов, откроет дверь, выйдет к мол од ежи... Никто не вышел. Было несколько мгновений, когда ледяной ручеек страха заструился у меня между лопаток. Так начинаются революции, – подумал я, стоя у подоконника и вглядываясь через мутные двойные стекла в молодые

лица, румяные от возбуждения и холода. – Если они ворвутся в вестибюль, все будет сломано, разгромлено, сокрушено... Выросший с революционными песнями на устах («Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян...»), я вдруг ощутил себя петербургским обывателем (дворянином?., буржуа?..), испуганным событиями, последовавшими за взятием Зимнего дворца. Не книжной романтикой – живым ветром бунта и мятежа дохнула на меня в тот миг улица сквозь двойные рамы...

Простояв под окнами Союза минут двадцать или тридцать (к молодым людям, как оказалось потом – студентам, никто так и не вышел), колонна тронулась вверх по проспекту, в сторону ЦК и простершейся перед ним площади имени Брежнева. Вечером стало известно, что там, на площади, собралось множество народа, шел митинг, руководство республики, привыкшее к торжественным заседаниям и праздничным докладам, казенными, мертвыми словами убеждало людей разойтись, толпы не расходились, напряжение нарастало... На другой день толпы рвались к зданию ЦК, которое охраняла милиция, затем прибыли войска особого назначения, с овчарками, на площадь вывели колонны рабочих, построили в шеренги. Я сам видел развороченную облицовку фонтанов, длинного здания Агропрома, вытянутого вдоль площади: куски гранита летели в милиционеров, солдат, те отвечали на камни дубинками, рабочие – обрезками свинцового троса... Знакомый врач-хирург рассказывал, каким потоком в его травматологическое отделение везли раненых казахов, многие из них были в состоянии иступления, не хотели, чтобы к ним прикасались русские врачи. Журналисты с телевидения передавали, как толпа раздавила инженера-телеоператора, отца троих детей, кажется, немца. Слухи, многократно преувеличенные – о сотнях жертв, о трупах, которые вывозили из города и хоронили втихаря, чтобы скрыть от родных, – слухи, один ужасней другого, распространялись по городу, как раздуваемый ветром степной пожар, однажды мне довелось его наблюдать... Русские, т. е. все не-казахи, передавали, будто бы казахи ворвались в детский сад и перерезали всех русских, казахи сообщали о том же, но с противоположным смыслом. 18 декабря – день рождения нашего внука, моя жена попыталась из микрорайона пробраться в центр, чтобы купить цветов, – там, в микрорайоне, трудно было поверить, что центральные улицы Алма-Аты, обычно спокойные, даже пустоватые, вышли из-под контроля. Часть пути она ехала, потом троллейбусы встали, она вышла. Возле стадиона, перегородив дорогу, лежал перевернутый автобус. Она свернула к второму по величине алма-атинскому рынку – Никольскому. Толпы людей, в основном молодежи, это район студенческих общежитий, возвращались с площади, как разбитые на поле брани полки, многие несли в руках палки с гвоздями, металлические совки, чугунные печные кочережки. Все-таки она купила цветов и кое-как добралась до дома... Сын одного из наших сотрудников, работавший на заводе учеником, сам просился на площадь, попеняв на молодость, его взяли – там, в шеренге, он отбивался от устремившихся к ЦК, волнами накатывавших толп... Помню, постоянный автор нашего журнала, вбежав в редакцию, с трясущейся от ярости челюстью рассказывал, как удалось ему вырвать из рук студентов-казахов женщину, торговавшую пирожками, и втолкнуть в двери «Детского мира»... «Мне бы автомат! Пулемет! Я бы их всех крошил – подряд!..» – кричал он. Тщетно пытались его успокоить...

Не стану скороговоркой давать оценку тому, что тогда произошло. Все сложнее, чем это может показаться. Если Кунаев – один из отцов застоя, то следовало, вероятно, в дальнейшем это доказать, чтобы социальные факторы, не обжигая национальных чувств, оказались на первом плане. Но этого не было сделано – несмотря на все обещания и Колбина, и центрального партийного руководства. Осталась боль, обида: отчего нужно было «привозить варяга»? Да еще – тайком, ночным рейсом? И под разговоры о демократии испытанным способом продиктовать самодержавную волю Москвы ходившей до того в фаворитах республике?..

Тогда, после потрясших всю республику декабрьских дней, перед самым Новым годом в Союз писателей Казахстана приехал Колбин, состоялся «дружеский, откровенный разговор» в

зале, вместившем 600 человек, финалом были поцелуи, которыми обменялись новый Первый секретарь ЦК и первый секретарь Союза писателей Олжас Сулейменов... Но тягостная атмосфера взаимных национальных претензий, раздражения, противостояния, унаследованная от эпохи застоя, когда казахи были недовольны нашествием русских, губительным, как считали они, для казахского языка, культуры, традиционного образа жизни (распаханная целина вместо пастбищ и т. п.), русские же негодовали на разнообразные приоритеты и привилегии, которыми пользовалось коренное население, – тягостная эта атмосфера после декабрьской бури не очистилась, а насытилась электричеством. Национальный фактор перестал довольствоваться кухонным брюзжанием и маскировкой с помощью канцелярских, полных хитроумного политиканства циркуляров. Он вышел на улицу. Его злое неистовство продемонстрировало свою силу у всех на виду. Запах гари отравил воздух, стало трудно дышать... Худо ли, хорошо ли, но прежде существовала принятая всеми за реальность иллюзия: зло исходит от тоталитарного государства. Оказалось – оно рассыпано, растворено в душах людей. Не напечатанные в газетах призывы, не традиционное послушание – рванувшиеся из глухих подземелий страсти бросили людей на площадь, заставили хватать камни, палки, дубинки, ненавидеть, стремиться причинить боль друг другу – все вдруг оказались разбитыми по разным лагерям и помимо личных воль, привязанностей, желаний вовлеченными в состояние опаски, подозрительности, вражды. Что-то надломилось, рухнуло. Так надломилось, рухнуло внешнее благоденствие, гуманистическое единство Европы в 1914 году. В ее храмах молились уже не о мире на земле, а о победе и сохранении жизни – для своих, о поражении и смерти для тех, кого еще вчера считали своими «ближними»... Цветущие нивы превратились в кровавые поля сражений. На этих полях, покрытых обломками человеческих черепов и ржавыми осколками снарядов, на почве, удобренной растертыми в порошок иллюзиями, взошел новый, невиданный злак – фашизм.

...Казалось, вот он – декабрь 1986 года, первый подземный толчок, едва достигший Москвы, но качнувший твердь под нашими ногами. Он должен был насторожить каждого, предостеречь от того, чтобы ворошить угли, раздувать жар, плескать бензином в пламя, имя которому – национальный вопрос.

39

Тяжкая вещь – одиночество.

Возможно, какой-нибудь чистокровный британец в прошлом веке способен был, испытывая несокрушимое уважение к своей персоне, посиживать себе перед камином с трубкой а зубах, стаканом грога в руке и томиком Диккенса на коленях, и плевать ему было на все, что происходит за стенами его дома, и, в частности, на то, что думают о нем Джон Смит и Боб Чейнсток.

Я не британец, у меня нет ни камина, ни трубки, ни грога, и даже будь они – все равно ничто не заменило бы мне редакцию с круговоротом дел, трепом, дружеским сочувствием по разным поводам, ответственностью за чьи-то рукописи, а значит – судьбы... Я родился и прожил всю жизнь не в Британии, а в России, где быть как все, быть вместе со всеми – хорошо, порядочно, нравственно, а оказаться в одиночестве, выступить из общего ряда и повернуть против всех – значит навлечь на себя неодобрение, осуждение, подвергнуться благородному презрению и в конце концов – остракизму.

Я ничуть не сомневался в том, что до сих пор вел себя правильно, тем не менее на душе у меня было тоскливо, беспокойно. Связи с близкими мне людьми рвались, как гнилые нитки. Вакуум вокруг разрастался. Внешне все оставалось по-прежнему, я ходил в редакцию, читал и правил чистые листы, как положено дежурному редактору, спешил, чтобы не задерживать печатный цех... Но присущая нашему маленькому коллективу простота отношений, грубоватая их откровенность исчезли. Со мной разговаривали холодно, вежливо, с подчеркнутой

учтивостью, я отвечал тем же. Почти неприкрытую ненависть к себе я чувствовал со стороны только одного человека. Не знаю, может быть, на его месте тоже испытывал бы неприязнь к тому, кто отклонил мою повесть от публикации... Но у Карпенко личная обида наложилась на ультрамодные идеи, усвоенные за год жизни в Москве, собственная судьба сопряглась в его сознании с судьбой России... Его я понимал, его поведение, не входя в мотивы, представлялось мне естественным. Другое дело – Валерий Антонов; каждый день я ожидал, что он подойдет ко мне или позвонит... Но он не звонил, не подходил. Иногда мне хотелось первому сделать шаг, поднять телефонную трубку, набрать номер... Но что-то меня останавливало.

Что до знакомых и друзей, не связанных с редакцией, то никто из них не читал рукопись Марины Цветаевой. В том, что они разделяют мои соображения, заключалась явная для меня натяжка. Слишком многое было против меня. Я никого не убеждал в своей правоте, убедить могло единственное – текст, которого я не мог им представить...

Так, хотя и в ином варианте, повторялась для меня ситуация пятилетней давности, когда мы с Галиной Васильевной Черноголовиной и Виктором Мирогловым выступили против Владимира, помощника Кунаева. Многие разделяли наше отношение к этому всесильному ничтожеству. Но нас никто не поддержал. Никто не вышел к трибуне на писательском пленуме, чтобы подтвердить обвинения, высказанные нами перед Кунаевым, который один мог обуздать своего выкорыща... Все прятали глаза, толковали о погоде, об армянском коньяке, только что появившемся в баре, но продающемся с двойной наценкой... Ничего другого словно не существовало.

Помню, перед самым пленумом после моих настойчивых звонков ко мне заехал старый мой друг Владилен Берденников. Долгие годы мы были близки – еще с той давней поры, когда жили в Караганде, работали в одной редакции... Теперь он был писателем, автором нескольких хороших, честных книг. Мы ходили по скверу, рядом с моим домом, и я, не волнуя свою жену, рассказывал ему кое-какие подробности – о нашем походе к Кунаеву, о его заключительной фразе: «Пускай ваши товарищи выступят на пленуме, который у вас начнется на следующей неделе... Пускай выступают, критикуют, никого не боятся...» Берденников, дослушав, изложил свои хорошо продуманные аргументы, из которых следовало, что мы поступили крайне легкомысленно, что вреда от этого может быть больше, чем пользы, что... Короче, что кашу, заваренную нами, нам же и расхлебывать. Что ж, у него была своя логика... Я не спорил. Мы простились, и прошло довольно много времени, пока наши отношения вновь наладились, но какая-то трещина в них осталась надолго.

Потом я не раз думал: почему так получилось?.. У каждого были свои причины, своя логика поведения: один, исходя из печального опыта, не верил в успех, другой попросту трусил, третий когда-то с помощью того же Владимира, многих державшего на крючке, получил квартиру и не хотел подводить своего патрона, что чисто по-человечески тоже можно понять. Все можно понять, все можно объяснить. И все-таки... Почему люди поступают по-разному? Потому что они разные люди? Или потому что наряду с одной логикой возможна другая? Ничуть не менее логичная?.. Но приводящая к иной линии поведения, иным поступкам?.. Выходит, не ошибки в цепочке суждений и выводов (а разве не о них, не об этих ошибках спорят?..), а исходные начала все решают, прочее – лишь следствия. Ведь имеется своя безукоризненная логика в том, что когда кто-нибудь тонет, а вы не умеете плавать, то не бросаетесь в воду, на помощь тонущему? Но есть и другая логика, согласно которой вы бросаетесь... Все-таки бросаетесь... Не можете не броситься... Поскольку вы любите этого человека. В первом случае тонущий вам безразличен, а, может быть, и враждебен, во втором же – вы его любите, он дорог вам... И это все решает и объясняет.

Всегда есть эта другая логика... Ее определяют – в одном случае любовь, в другом – нравственные постулаты, в третьем – самоуважение, понятие чести... Все так. Но раньше я

жил в полной уверенности, что у меня и у тех, кто был рядом со мной, одна и та же логика, одни и те же исходные начала... И вот – мы перестали чувствовать, понимать друг друга.

Возмущение, злоба, ярость – что мною владело?.. Скорее всего – удивление...

40

Однако ни малейшего удивления не ощутил я, когда однажды мне позвонила Галина Васильевна Черноголовина и сказала, что, будучи членом партбюро Союза писателей Казахстана и готовясь к докладу о работе журнала, она познакомилась с «Вольным проездом» и считает, что его публикация в нынешних условиях может радовать только «Память» и будет способствовать разжиганию национальной вражды. Свою точку зрения она изложит редактору письменно и постарается отговорить его от ошибочного шага.

После одной из атак на журнал, которые постоянно повторялись во времена Шухова (он выдержал еще три года озлобленной травли после того, как «Новый мир» уже отставили от Твардовского...), Галина Васильевна, заместитель главного редактора, ушла из журнала, чтобы прикрыть своим уходом Ивана Петровича, отсрочить его снятие... С тех пор она работала дома, писала, издавалась, храня редкостную независимость характера. Но в республике – единственный литературный журнал на русском языке, к тому же в нем планируется печатать ее новый роман. Стоит ли рисковать? – подумал я, хорошо зная наши нравы и принципы... Не очень-то здоровая и не очень молодая женщина, муж-сердечник... Да табун резвых жеребцов раздавит ее, забьет копытами! И все из-за меня?..

– Галина Васильевна, – сказал я в трубку, – я знаю, вы поступите, как сами сочтете нужным, что для вас мои советы... И все-таки – я не советую, я прошу вас – не делайте этого! Все аргументы я уже высказал Толмачеву, ничего нового вы ему не сможете выдать – только наступите на самолюбие, раздражите – и ожесточите против себя.

– Я подумаю, – сказала Галина Васильевна. Голос ее был тверд, резок, холодок обиды пронизывал его. Я увидел на мгновение темные, строгие глаза на полном, уверенно вылепленном лице, крутой подбородок, прямые, взлетят, брови...

Ну и дешевка же ты, – сказал я самому себе. – Неужели ты думаешь, что она... Неужели ты веришь...

Нет, я не верил. Я знал, что она не послушается никаких советов. У нее – своя логика. И эта логика мне понятна. Что же я прикидываюсь, лицемерю?.. Это норма. Как же от нее отговаривать?..

Норма... Разве норма перестает быть нормой в зависимости от того, сколько людей следует ей?..

Мне вспомнилось, как незадолго до самоубийства Ландау меня допрашивал следователь в республиканской прокуратуре. Был жаркий день в середине лета, но в кабинете с высоченным потоком, узким окошком и толстыми кирпичными стенами стояла благодатная прохлада. Перед следователем лежал исписанный в столбик листок. Он зачитывал: Александр Солженицын, «Раковый корпус». Жорес Медведев, «Лысенко и Вавилов». Евгений Евтушенко, «Автобиография»... Он зачитывал, я говорил: «Нет, не читал», и снова: «Нет, не читал», и снова: «Нет, не читал...» Список включал примерно около сотни рукописей, ходивших в самиздате. Они были обнаружены у моего приятеля. А если точнее, то он сам их принес и сдал в КГБ после наставительной беседы со следователем – о происках наших врагов и способах подрыва советской власти. Мой приятель с юности страдал маниакально-депрессивным психозом, часто и подолгу бывал в психиатрической больнице, а выходя из нее, превращался в очень деятельного (может быть, даже слишком деятельного), интеллигентного, широко мыслящего человека с живым, порой блестящим умом. И вот – болезнь сыграла с ним скверную шутку. С ним, а

заодно и со мной. Поскольку мой приятель, отвечая на вопросы следователя, в числе тех, кому он разрешал пользоваться своей потаенной библиотекой, назвал и меня.

В традициях психологического детектива, твердя «Нет, нет и нет», я решил, для убедительности, два или три раза сказать «Да, читал». Кроме того, мне сделалось жаль следователя, который ожидал от нашей встречи многого, и вдруг – полное разочарование... Почему не порадовать человека, тем более что это мне ничего не стоит?.. Позже я понял, что не слишком далеко ушел от своего товарища, хотя, регулярно навещая его в психбольнице, сам ни разу (пока!) не оставался там дольше, чем того требовали наши свидания. Впрочем, в те годы разница между психбольницей и тем, что вокруг, в некотором смысле была условной... Как бы там ни было, доставив некоторое удовольствие следователю (сознался я, стыдно сказать, в такой мелочевке, как Евтушенко и Жорес Медведев), я вышел из прокуратуры на вольный воздух, на улицу, где журчал арык, мчались машины, девушки в ярких платьях цокали каблучками по асфальту, и только тут понял, что сваял дурака, сам себя заложил. Но это еще ничего: решив доставить удовольствие следователю, я заложил и журнал. Поскольку достаточно было упомянуть, что причастный к самиздату человек работает в «той самой редакции, которая...», чтобы не поздоровилось и редакции, и главному редактору, и последствия могли случиться самые непредсказуемые...

По нынешним меркам это может представляться натяжкой, но тогда... Тогда мои несколько запоздалые прозрения подтвердил другой мой приятель, юрист, хорошо знакомый и с правовой наукой, и с бесправием, свойственным положению каждого простого советского человека в эпоху развитого социализма. После разговора с ним я, не мешкая, отправился к главному редактору журнала, к нашему незабвенному Ивану Петровичу Шухову, и когда мы остались наедине, все ему выложил.

– Когда вы принимали в журнал человека, сидящего теперь перед вами, вы не подозревали, какой это идиот, да и сам он этого не знал. Я ухожу, Иван Петрович, увольняюсь по собственному желанию или как вы сочтете нужным. Другого выхода я не вижу. Редакции из-за меня предстоят большие неприятности. Мало того, что шьют самиздат: я – еврей, стало быть – сионист, идеологический диверсант, пособник израильских империалистов и прочая, и прочая... Что и кому тут докажешь?.. Я напишу заявление.

Иван Петрович слушал меня внимательно, не перебивая, не переспрашивал. Он сидел в кресле, упершись локтями в стол, сцепив морщинистые стариковские пальцы, опустив голову, так что я почти не видел его лица – только сивые, седые волосы на темени крупной, не по росту, головы... О чем он думал? Может быть, о том, что в те минуты не приходило мне на ум: куда я денусь, уйдя из редакции? Кто меня возьмет?.. Я давно не печатаюсь, после первого успеха все оборвалось, я прослыл диссидентом, теперь этот самиздат... Случалась, Шухов бывал у нас дома, разговаривал с моей женой, тестем, тещей, шутил, ухватив за нос дочку: «Какой холодный – как у охотничьей собаки!..»

Помню, я ждал его слов, но что бы он ни сказал, у меня будто гора с плеч свалилась: я рад был, что сам нашел правильное решение...

Иван Петрович помолчал, посопел, хмуря лохматые кустики бровей над мощными линзами. Наконец, я услышал:

– Не надо вам, Юра, никуда уходить...

– А журнал?..

Журнал, как «Новый мир» для Твардовского, был его, по сути, детищем, он жил им – впрочем, как и все мы... Но, глядя куда-то мимо, Шухов только махнул куда-то в сторону рукой – мол, что ж, двум смертям все равно не бывать... Видно, противно было ему – даже из высших, говорю без иронии, соображений – согласиться на предложенное мной...

И я остался в журнале...

А времена были серьезные.

Через неделю или две, замученный допросами и обысками, Ефим Иосифович Ландау бросился с балкона. В прощальном письме Бенедикту Сарнову он извинялся за то, что не успел закончить примечания к однотомнику стихов Эренбурга (в Большой серии «Библиотеки поэта»), который редактировал Сарнов. Письмо, написанное в свойственной Ландау сухо-важно-ироничной манере, заканчивалось строчками из эренбурговской «Бури»:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До третьих петухов...

41

Проще всего манеру поведения связывать напрямую с интеллигентностью, культурой. Будто Фихте или Вагнер не были столпами культуры... Будто академики Углов и Шафаревич – не интеллигенты... И если Иван Петрович Шухов, на мой взгляд, был высшей пробы интеллигентом, то не количеством прочитанных (и написанных) книг, не образом жизни это определялось. В его характере, в своеобразном артистическом аристократизме его души мне всегда чудилось некое природное, из народной глубины идущее начало. То самое, в котором трудно все разложить по полочкам, разумно мотивировать. Почему?.. А бог его знает – почему, да только поступить надо так, а не иначе! И чем больше доводов, тем упорней желание сделать все им наперекор!..

Думая об Иване Петровиче, я вспомнил о человеке, которого никогда не видел. Звали его по теперешним стандартам странно – Афон. А услышал о нем я от Марии Марковны, матери моей жены. Молодость ее прошла на Украине, в Черкассах. Город во время Гражданской войны переходил из рук в руки – от белых к красным, от красных – к петлюровцам, от петлюровцев – к «зеленым», Бог знает – к кому еще. Что дольше всего хранит человеческая память? Воспоминания о войнах, пожарах, землетрясениях... В еврейской памяти живут погромы. Как-то, перебирая фотографии незнакомых мне людей, бережно хранившиеся Марией Марковной, я засмотрелся на одну – совсем юной, необычайно красивой девушки с рафаэлевским овалом лица, полными губками, большими черными глазами, мерцающими в глубине густых ресниц. Локон, завившийся пружинкой, повис у виска – там, на виске, казалось, пульсирует жилка... Чудо как хороша была девушка! Я заглянул на обратную сторону фотокарточки – и прочел написанное мелким четким почерком: «Маня (имя мне запомнилось, фамилия – нет), убита во время погрома».

Потом я узнал от Марии Марковны: это была ее подруга, когда ее убили, ей было восемнадцать лет.

Так вот, в тот ли, в другой раз, когда город захватили петлюровцы (или «зеленые» атамана Григорьева) и по Черкассам полыхнул слух о погроме, семью Марии Марковны спас Афон.

Семья была немалая и не состояла в родстве ни с баронами Ротшильдами, ни с сахарозаводчиком Бродским. Ее глава Мотл Проскуровский служил на железнодорожной станции упаковщиком, дети – что постарше – подрабатывали: тот помогал на разгрузке, этот, шелкая кнутом, гонял на Днепр клячонку-водовозку. Афон жил рядом, за плетнем. В плетне имелась дыра, так что со двора в соседний двор можно было пробраться, не выходя за калитку. Когда слухи сделались угрожающими, Афон явился к своим соседям и ночью через ту дыру провел к себе в дом. Перед этим дедушка Мотл (так называли Мотла Проскуровского, когда я впервые его увидел: в ту пору ему было хорошо за восемьдесят) пришел к этому человеку, с которым его разделял не только плетень: вера, обычаи, ощущение жизни – все было разное... И вот

он пришел к соседу Афону и положил на стол ему деньги (можно представить, сколько мог собрать их упаковщик!..) и сказал: «Спаси мою семью». И Афон ответил: «Забери свои деньги, я тебе лучше сделаю, чем за деньги»... Так, именно так, слово в слово, будто бы сказал Афон, и я не сомневаюсь, что так оно и было, уж очень характерная интонация дедушки Мотла слышится мне в этом пересказе. Но что в конечном счете куда важнее – все дни, пока в городе шел погром, пока в городе грабили, насиловали, убивали, семейство дедушки Мотла скрывалось в подполье у Афона. Он мог за это жестоко поплатиться, отчего же он все-таки это делал?.. Тем более что среди захвативших Черкассы не то петлюровцев, не то григорьевцев были два его родных брата?.. Пока они грабили и убивали, Афон спасал... Отчего?.. Не знаю, не знаю, не могу ответить. Тем более что не довелось мне повидать того Афона, поговорить с ним. Правда, его видела моя жена, еще девочкой: приезжал к дедушке Мотлу в Харьков огромного роста старик, с большой бородой, в сапогах и плаще, он доставал из мешка и протягивал ей гостинчик из родных Черкасс... Потом они с дедушкой Мотлом сидели за столом, пили чай, а то и кое-что покрепче, закусывая свежепросоленным, с чесночком, салом. Дедушка Мотл, в чем я сам убедился, даже и в свои почти девяносто лет мог, а главное, умел выпить, и когда его внук, только что отслуживший в армии, проездом домой заглянул к дедушке и, хорошо «приложившись» на радостях, под конец рухнул и растянулся пластом во дворике, под увешенным спелой вишней деревом, дедушка Мотл, ни в чем не уступавший в застолье внуку, привычно похаживал по садику, рыхлил землю мотыжкой...

Трудно понять, почему от Ивана Петровича Шухова потянулась ниточка мыслей к дедушке Мотлу к Афону... Но если бы случилось невероятное, подумалось мне, и три этих человека встретились, они бы поняли друг друга...

42

Не стану скрывать, позиция Афона, о котором рассказано, мне симпатичней, чем позиция его братьев, которые, возможно, и прежде не были большими интернационалистами, а в Гражданскую войну решили, что все евреи – от мала до велика – комиссары от самого рождения, почему их и следует извести... У братьев Афона имеется ныне изрядное количество духовных братьев, посвящающих «лучшие годы своей жизни» коллективному воскрешению старого мифа. Думаю, сами мифослагатели отлично ведают, что творят, но для многих слова их, произносимые с артистической страстью, являются истиной. Под воздействием их слов порой оказываются и прямые жертвы мифа – евреи, еще недавно гордившиеся своим генетическим комиссарством, а ныне терзающиеся причастностью к нему... Мне кажется, ни гордиться, ни терзаться тут нет оснований, но стоит хотя бы попробовать разобраться в расхожем обвинении, выдвинутом против еврейства, – его активном участии в революционном движении, особенно – в его едва ли (по мнению об винителей) не главной роли в Октябрьской революции, Гражданской войне, коллективизации и т. д.

43

В самом деле, поскольку «ни в одной европейской стране они не подвергались таким ограничениям и преследованиям, ни в одной стране они не были загнаны в «черту оседлости»⁷, революция для многих евреев, и прежде всего для еврейской бедноты, оказывалась единственной возможностью добиться человеческого положения, сравняться в правах с остальным населением, разрешить общие для всех социальные проблемы. Отсюда – значительный процент

⁷ Сб. «На пути к свободе совести». М., «Прогресс», 1989 г., с. 9.

евреев среди революционеров. Однако намеренное выпячивание этого обстоятельства отвлекает внимание от фактов, никак не вписывающихся в распалюющую сердца «патриотов» картину.

1) Среди меньшевиков, решительно отвергавших, как известно, идею захвата власти в октябре 1917 года, было большое количество евреев, они входили в руководство меньшевистской партии с первых лет ее создания, например – Ю. О. Мартов, П. Б. Аксельрод, Р. А. Абрамович, Ф. И. Дан, Г. Я. Аронсон, С. Шварц, редактор меньшевистской «Московской газеты» Н. В. Вольский и др.

2) Лидерами партии правых эсеров являлись А. Р. Гоц, Д. Д. Донской, Б. Рабинович, М. Я. Гиндельман, Л. А. Герштейн, Е. М. Ратнер-Элькинд, по терминологии Шафаревича – представители «малого народа». Эсеры тоже были против провозглашенного в «Апрельских тезисах» курса на социалистическую революцию. Мало того: вместе с меньшевиками они покинули Второй Всероссийский съезд Советов, провозгласивший установление в России Советской власти. Еще недавно такие обличители сионизма, как Романенко и К^о, поносили за это «сионистских вождей» из числа меньшевиков и эсеров, обвиняя их в антикоммунизме. Казалось бы, теперешние «борцы с мировым сионизмом» за то же самое должны возгласить Мартову или Гоцу «осанну»... Ничуть не бывало!

Не говорю уж о том, с каким уважением к евреям-эсерам следовало бы отнестись тем, кто дорожит памятью об Учредительном собрании, разогнанном большевиками: партия эсеров, как известно, имела в нем преобладающее количество мест.

3) Уж кто-кто, а кадеты – конституционные демократы – меньше всего могут быть заподозрены в симпатиях к Октябрю и Советской власти... Между тем в ЦК партии кадетов входили евреи М. М. Винавер (юрист, близкий друг П. Н. Милюкова), П. П. Тройский, М. Л. Мандельштам, Л. И. Петражицкий, А. С. Изгоев. К видным деятелям кадетской партии относят И. В. Гессена, А. И. Каминку, Г. А. Ландау.

4) Пропагандисты теории «мирового заговора» видят в Октябрьской революции гигантских масштабов еврейскую акцию против русского народа. Однако не естественней ли полагать, что одни евреи жаждали революции, другие больше заботились о судьбе своей семьи или, скажем, своего местечка, чем о «всемирном пролетарском пожаре», третьи же, а именно – люди богатые, революции отнюдь не сочувствовали, а наоборот – активнейшим образом ей сопротивлялись. Чтобы это последнее соображение обрело плоть, напомним, что до Первой мировой войны в руках капиталистов-евреев было 100 сахарных заводов из трехсот, имевшихся в стране; что заводы, принадлежавшие семье Бродских, производили в 90-х гг. четвертую часть всего российского сахара; что в XIX веке прокладкой железных дорог в России занимался ряд еврейских подрядчиков, из них самым известным считался «железнодорожный король» Самуил Поляков; что немалый капитал сосредоточен был в руках еврейского банкира Евзеля Гинзбурга, что в разработке золотых приисков участвовал его отпрыск Гораций Гинзбург, что среди крупных российских капиталистов значились Гальперины, Этингеры и др., связанные с текстильной и мукомольной промышленностью, речным судоходством⁸.

Сейчас для большинства из нас многие из приведенных выше имен почти ни о чем не говорят. Сочиненная, далекая от объективности история, бывшая долгое время в ходу, оставила в нашей памяти Троцкого и Каменева, Зиновьева и Свердлова, Урицкого и Володарского, Лозовского и Рывкина, Ярославского и Скворцова-Степанова и т. д., и т. д. Тут волей-неволей может возникнуть впечатление о каком-то продуманном, тщательно организованном, руководимом из единого центра дьявольском замысле...

Разумеется, вершинной точкой сооружаемой ныне пирамиды из обличений и разоблачений оказывается приговор, выносимый Марксу и марксизму: это его план, его утопия вино-

⁸ См. с. 394–395.

вата в принесенных Россией жертвах. Он, Маркс, и его марксизм... И так ли уж важно, что Маркс имел в виду социализм, идущий на смену не полуфеодальному, едва-едва нарабатывающему капиталистическую мускулатуру государству, а капитализм, который успел пережить свою зрелость и одряхлеть, исчерпать себя; так ли уж важно, что он ориентировался на развитый, сильный, организованный пролетариат; так ли важно, что до сих пор остаются открытыми вопросы: в самом ли деле утверждал он необходимость пролетарской диктатуры, и если да, то что понимал под нею, и т. д. Тут многое спорно. Бесспорно другое: Ленин и российские большевики считали себя истинными марксистами и пришли к идее диктатуры, но Карл Каутский, Эдуард Бернштейн, Рудольф Гильфердинг и другие деятели Второго Интернационала, тоже считая себя истинными последователями Маркса, были противниками пролетарской диктатуры. Социалисты Леон Блюм, Жорж Мандель, Бруно Крайский, Пьетро Ненни, Франсуа Миттеран, многочисленные партии Социинтерна также не разделяли – или не разделяют в настоящее время – догматов, считавшихся у нас единственно верными. Хочешь – не хочешь, приходится признать, что среди активных деятелей Второго Интернационала и в прошлом, и ныне довольно много евреев. Но... Пирамида требует стройности, ее основатель – еврей Маркс, он и его последователи накинута на шею России удавку – Октябрьскую революцию, пролетарскую диктатуру, убили царя, разрушили церковь. Сталин был всего лишь покорным их учеником, что с него взять... Как-никак – евреем он не был, хотя бы за это можно иные вины ему скостить...

Так создается, конструируется, разрабатывается версия, отличающаяся простотой и доступностью, а кроме того, имеющая то преимущество, что задевает впрямую минимальное количество людей: всего-то какие-нибудь 0,69 процентов населения нашей страны. Им, 0,69 %, выносится обвинительный приговор, который служит одновременно оправданием для остальных 99,31 %... Не потому ли столь охотно прощается этой версии то малое обстоятельство, которое не простили бы любой другой: полнейшее пренебрежение истиной?..

44

В конце января собралась редколлегия.

Как всегда, проходила она в кабинете главного редактора. Как всегда, вначале главный редактор изложил суть проделанной за последние месяцы работы, очертил план на будущее – все это выглядело весьма дельно и респектабельно. Затем стали высказываться члены редколлегии, и высказывались также весьма дельно и респектабельно, то есть тщательно дозируя плюсы и минусы – так, чтобы положительное сальдо складывалось в пользу журнала. Короче, господствовал дух общего взаимопонимания и взаимной приязни, характерных для такого рода совещаний. Помимо членов редколлегии, не состоящих в штате редакции, присутствовали почти все работники журнала.

Когда с главными вопросами было покончено, Толмачев сказал:

– Поступило письмо от Герта Юрия Михайловича...

Он читал текст – быстро, скороговоркой, без всякого выражения на лице и в голосе – подчеркнута беспристрастно, точнее – бесстрастно. Тишина в кабинете была полнейшая. Но ощущалось в ней осуждение, даже какая-то благочестивая оскорбленность. Толмачев еще не кончил, еще никто не произнес ни слова, а я уже чувствовал себя так, будто совершил такое неприличие, о котором и говорить порядочным людям неловко, не то чтобы всерьез порицать. Достаточно просто пожать плечами, поморщиться – и продолжать заниматься важными, достойными делами.

Одно меня радовало в тот момент – что бог надоумил меня прямо, открыто, ясными словами определить свою точку зрения на бумаге, исключив тем возможность ее перевернуть и домысливать...

Впрочем, не бог, а некоторый опыт меня этому научил. Много лет назад, году в 1968, Иван Петрович рассказал, как к нему явился тогдашний секретарь Союза писателей Моргун и принялся выговаривать за то, что он, Шухов, собрал у себя в журнале «жидовское кодро».

В то время в редакции «жидовское кодро» представлял я в единственном числе. История с Ландау была еще впереди, меня забавляла странная логика, по которой неугодного властям Солженицына преобразовали в еврея Солженицера, Сахарова – в Цукермана, что же до моих друзей Николая Ровенского и Алексея Белянинова, то первого «руководящие круги» в Алма-Ате, несмотря на стопроцентную славянскую внешность, считали замаскировавшимся евреем Ровинским, второго – тоже евреем – из-за еврейки-жены... Она, эта государственная логика, владевшая Федором Авксентьевичем Моргуном, поэтом, а во время войны – начальником лагеря, по его словам, для военнопленных японцев, не бралась мною в расчет. Обида и ярость по молодости лет захлестнули меня.

В тот же день, после разговора с Шуховым, я позвонил Анатолию Ананьеву.

– Толя, – сказал я, мы были с ним на «ты», – прошу тебя завтра утром в 10 часов быть в кабинете Моргуна. Зачем – завтра узнаешь, но для меня это очень важно.

Ананьев, недавно еще секретарь Союза писателей Казахстана, собирался переезжать в Москву и держался независимо, не примыкая ни к одной группировке. Так что для меня не было человека более подходящего на роль секунданта.

В 10 утра на другой день я вошел в кабинет к Моргуну. Ананьев был здесь. Я поблагодарил его и сказал, что он понадобился мне как свидетель, чтобы предупредить впоследствии любые передержки. Потом я подошел к столу, за которым гранитной, грубо обработанной глыбой возвышался Моргун.

– Я пришел вам сказать, Федор Авксентьевич, – сказал я очень спокойным, так мне казалось, тоном, – что мой отец был офицером, он погиб в октябре 1941 года, защищая от фашистов Родину, и мне стыдно перед своей дочерью за то, что землю, за которую он отдал жизнь, поганят такие мерзавцы, как вы.

Моргун побледнел, водянистые, заплывшие глазки его округлились, сжались в копеечку: – Ничего не понимаю!.. Что случилось?..

Видно, ему впервые довелось услышать такое. И от кого?.. Я все ему объяснил. Тем же спокойным, ледяным тоном, чеканя каждое слово. И только все до конца высказав, выйдя из кабинета, прошагав бесчувственными ногами через еще пустынный в этот час вестибюль, сел за свой стол в пустой еще редакционной комнате – и заплакал. Сам не знаю, как это получилось. Сто лет, тысячу лет не плакал, забыл, как это делается – а вот поди ж... Рыдания так и хлынули из меня, стыд, как раскаленные плоскогубцы, жег и рвал тело: стыдно мне было и за эти глупые, неудержимые слезы, стыдно – перед моей семилетней дочерью – за то, что землю, которую я учил ее любить, топчут антисемиты... Пределом позора – о святая простота!.. – казалось мне, что писатель, поэт, секретарь СП – может быть черносотенцем... У нас в Караганде, откуда я приехал, воздух был чист, русские, казахи, немцы, евреи, украинцы, корейцы – кого у нас только не было, до болгар и испанцев включительно – все дышали этим воздухом в полную грудь...

Мне было тогда 37. Сейчас 57, а через неделю стукнет 58... И вот я сижу, слушаю Толмачева, который читает мое письмо... Что скажут люди, заполнившие его кабинет?.. На стене – портрет Ивана Петровича Шухова, он умер 14 лет назад. И умер Алексей Белянинов, отсутствие которого все эти годы – и чем дальше, тем острее – я ощущаю. Морис Симашко, звонивший мне последнее время каждый день, – не член редколлегии, его нет здесь. И нет Володи Берденникова, который бы наверняка был рядом со мной, – он уволился из редакции полгода назад. Николай Ровенский... Он давно не ходок в журнал, засел как в ссылке в Обществе по охране памятников. Ушел из журнала Старков – человек мягкий, без камня в душе, но потому-то, возможно, и чуткий к чужой боли... Даже Нади Черновой нет, еще не вернулась из отпуска:

впрочем, и хорошо, что ее нет, ей пришлось бы уступить силе... А сила, я это сразу понял, не на моей стороне.

Среди собравшихся Сатимжан Санбаев, с которым нас прежде многое сближало, но на меня пал жребий отказать ему от лица редакции в печатании наспех написанного последнего романа... Мурат Ауэзов, человек во всех отношениях замечательный, к тому же тонкий, все понимающий, не раз доказавший свою отвагу... Но Сатимжан – его друг, а в жизни частенько выбирают не истину, а Платона... Павел Косенко – умница, эрудит, он тоже все понимает, и понимает, что журнал, в котором он пятнадцать лет работал заместителем главного редактора, в лучшие годы добивался популярности совсем иным способом. Но Павел осторожен, осмотрителен... Кто еще?.. Валерий Буренков, приятель Толмачева...

Остальные?.. Мнение наших, редакционных, мне известно заранее... Ну, что ж, в любом случае – я сделал все, что мог.

– Кто желает высказаться? – Закончив чтение, Толмачев торопливым, скользящим взглядом пробегает по неподвижным, закаменевшим лицам.

Молчание.

Долгое-долгое молчание.

Мне становится смешно: словно перед командой «Пли!..» Это когда-то. А в наше время – «Огонь!..» Глупая мысль, но губы мои ползут, растягиваются в усмешку, сдержать которую нет сил.

Раньше я был один на один с редакцией, теперь – с редакцией плюс редколлегией... Только и всего.

– А о чем тут говорить? – агрессивно произносит Иван Щеголихин и поднимается, распрямляясь во весь свой великолепный рост. – И вообще – что это за тон у Герта в его... письме? Кто такой Герт, чтобы так с нами разговаривать?.. Не вижу смысла в каком-либо обсуждении. Цветаева или Герт?.. Я выбираю Марину Цветаеву!

Щеголихин – один из самых видных русских писателей Казахстана. Автор немалою числа книг, нескольких биографий, выходящих в Москве, в серии «Пламенные революционеры»... Он садится. От него дышит жаром, как от раскаленной печной дверцы. Случайно получилось, что мы сидим рядом, я всем телом чувствую этот жар. Мы знаем друг друга двадцать пять лет, когда-то вместе работали в журнале... Я мог бы ему кое-чем ответить, но не хочу. Я все сказал в письме...

– Герт предлагает запросить специалистов... – то ли утвердительно, то ли вопросительно произносит Дмитрий Федорович Снегин, сидящий напротив Толмачева, перед редакторским столом, и, обернувшись, смотрит на меня. Сложные чувства сплетены в этом взгляде из-под прямых, широко раскинутых бровей на красивом, скульптурной лепки лице. Он похож на памятник, сошедший с пьедестала, оживший, но не до конца, хранящий в фигуре, движениях, мимике невозмутимую величавость писателя-классика, в прошлом – фронтовика-панфиловца, еще недавно, считалось, друга Кунаева... По природе незлой человек, он, будучи долгие годы секретарем Союза писателей, относился ко мне с покровительственным сочувствием, случалось, и помогал. Вот и сейчас в его глазах и сочувствие, и упрек, и жалость: мол, что же это вы, Юра?.. Для чего это вам было надо?.. Как вас угораздило?..

– Да, – откликается Толмачев на его полувопрос, полу ни к кому не обращенные, повисшие в пространстве слова, – тут названа... – Он упирается взглядом в заключительный абзац моего письма – Са-а-кянц... – врастяжку повторяет он, должно быть, впервые встречая это имя.

Какая-то волна, похожая на затаенный вздох, пробегает по комнате. Меня обжигает догадка: Герт, Саакянц... Неважно, что Саакянц – крупнейший в стране специалист по творчеству Марины Цветаевой. Это не важно. Важно, что Герт... Да, вот именно – Герт... Назы-

вает не кого-то, а именно Са-а-кянц... И они, Герт и Са-а-кянц, будут судить нашу Марину Цветаеву!..

Мне противно от своей догадки, додумавшись до нее, я становлюсь противен сам себе.

Кто-то говорит, что «Вольный проезд» нужно прочесть всем членам редколлегии, есть такие, кто не читал... Косенко, Мурат Ауэзов, Санбаев... Нужно прочесть – и снова собраться...

Остальные читали. И согласны со Щеголихиным, которого, видно, Толмачев полностью посвятил в наши споры. Иначе откуда взяться такой лапидарной формуле: «Герт или Цветаева»?.. Ведь в письме об этом ни слова.

– Снова собираться?.. Зачем, проще сообщить мне свое мнение по телефону или письменно, – говорит Толмачев.

Вот и все. Напрасно я думал, что кто-то возразит Щеголихину. Его не любят в редакции, но неприязнь (или ненависть?) ко мне пересиливает.

Редколлегия закончена. Все встают, выходят из кабинета Толмачева, с преувеличенным усердием и радостью разгибая затекшие суставы. Я тоже выхожу – один.

45

Все выходят и, как обычно, идут пить кофе... Я сижу в своей комнате, среди пустых столов. Мне вспоминается, как – еще при Шухове – мы всей редакцией пробивали повесть о Матери Марии. То была первая у нас в стране обстоятельная публикация о судьбе Кузьминой-Караваевой, и рассказывалось в ней не только о Блоке, об эмиграции, о французском Сопротивлении – рассказывалось о лагере Равенсбрюке, где Мать Мария пожертвовала собой, спасая молоденькую еврейскую девушку... Мы пробили-таки, напечатали эту повесть...

46

Я иду к Толмачеву. Он в кабинете один, собирается уходить...

– Послушай, – говорю я, – может, не станем тянуть дальше? По положению я обязан ждать два месяца, прошел месяц. Подпиши мое заявление.

– Так я и знал, – Толмачев, уже накинув было пальто, опускается в кресло. Вид у него огорченный.

Да, хотелось мне сказать ему, ты знал... Знал, к кому обратиться, кто будет третейским судьей... Щеголихин – талантливый писатель, но – смятый, сломленный жизнью человек: когда-то, при самых нелепых обстоятельствах, уже в мирные дни, дезертировал из армии, жил под чужим именем, был судим, отсидел три года. Колючая проволока, природный дар и чрезмерное, хотя и свойственное литераторам тщеславие, определили его характер. Точнее – бесхарактерность: он – человек без позиции, всегда там, где сила. В годы «оттепели» – с «новомировцами», потом – с новыми хозяевами положения. Понадобилось – и он предал свой журнал, своих друзей – Ровенского, Белянинова, Симашко. Предал Ивана Петровича, чей портрет украшает кабинет Толмачева. Когда-то написал повесть, в которой обрушивался на антисемитов... Повесть не напечатали, но так было тогда модно – и он, повинувшись моде, ее написал. Теперь в моде другое поветрие... И он его чувствует. Он принципиально беспринципен – вот его стратегия и тактика, его счастье и несчастье... Винить во всех бедах России евреев – безопасная, выгодная, патриотическая позиция. К тому же в журнале начинается публикация его нового романа...

Снегин... Будучи в чести и у власти, увенчанный всеми лаврами и регалиями, никому долгие годы не делал гадостей, не ставил подножек – правда, и не защитил никого, не избавил от клеветы, напраслины, от прямых обвинений в щедрое на все это «время застоя». Но мно-

гие знают – и Толмачев тоже, разумеется, – что в 1949 году, будучи секретарем Союза писателей, он выступил в газете с разгромной статьей, где назвал трех космополитов, «участников антисоветского подполья» – Домбровского, Варшавского, Жовтиса. Вскоре Юрий Домбровский был арестован, Варшавскому и Жовтису тоже пришлось несладко... В 1963 году – новый казус: нашумевшая, дважды профигурировавшая в «Известиях» история с публикацией антисемитской повести некоего московского автора. Не припомню, чтобы за подобный криминал у нас кого-то наказывали... А его таки сняли с редактирования журнала, в котором та повесть появилась. Не стоило бы ворошить давнее, только – к чему было прибегать к суду столь большого специалиста по национальным проблемам?..

Я мог бы все это выложить Толмачеву, но зачем? Все это ему было известно. Пожалуй, даже лучше, чем мне.

47

– Сегодня четверг, – сказал он. – Подожди до понедельника, в понедельник я подпишу. Тон у него был просительный. Я согласился.

Мне отчего-то стало его жаль и вспомнился рассказ Джека Лондона «Убить человека». Принято говорить о том, какого мужества, отваги, внутренней борьбы требует благородный, героический поступок. Подлость тоже нуждается в мужестве, отваге, мобилизации душевных сил...

48

В понедельник я в последний раз был в редакции: продиктовал несколько писем авторам, раздал работникам отдела рукописи, отобранные для публикации, выбросил бумажный сор, накопившийся в ящиках стола. За этим делом я дольше всех задержался в редакции, уходил, когда все уже разошлись.

Двадцать три года журнал для меня был вторым домом, второй семьей... Я знал, что никогда больше не перешагну его порога.

Но дело-то, собственно, заключалось не только во мне, а точнее – и вовсе не во мне.

49

«В начале было Слово», как сказано в Библии.

В начале были слова, произнесенные интеллектуалами (по нынешней терминологии), да какими! К примеру, вот что писал один из величайших гуманистов, поэт, рыцарь свободной мысли, борец с мракобесием Вольтер:

«Евреи никогда не были физиками, геометрами или астрономами; у них не только никогда не было общественных школ для воспитания молодежи, но даже термина, обозначающего такие учреждения, нет на их языке... Наконец, они просто невежественный и варварский народ, с давних пор соединивший самую мерзкую скаредность с самыми отвратительными предрассудками и с вековой ненавистью к народам, которые терпят и обогащают их».

Фихте, один из духовных вождей немецкой нации, философ, глубокий мыслитель:

Евреи... «являются обособленной и враждебной державой, находящейся в состоянии непрерывной войны со всеми другими государствами и тяжело угнетающей некоторых из них... Я вижу лишь один способ дать им гражданские права: ночью обезглавить их всех и приставить им другие головы, в которых не осталось бы ни одной еврейской идеи...»

Достоевский... Человечество не устает повторять сказанное им о слезе ребенка. Думаю, эта фраза достойна того, чтобы причислить ее к десяти заповедям – одиннадцатой!..

Но вот что он писал:

«... Вместо того, чтоб... влиянием своим поднять уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ, там еще больше приникало человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею отчаяние. В окраинах наших спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: безжалостность...» И еще, утверждал он, евреи «и теперь неуклонно ждут Мессию... они верят все, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме... и чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцем... следует иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтобы удобнее их унести... в Палестину».

Вот слова трех гениев, трех светочей на пути гуманизма, по которому с немалым трудом движется человечество. Сказанное ими о еврействе – малость, частность, если представить себе их творчество в целом. И, думается мне, взгляды эти находятся в противоречии с глубочайшими истинами, которые каждый из них поведал миру...

Да и кто я такой, чтобы, не соглашаясь с приведенными выше словами, в чем-то попрекать, а тем более – навешивать расхожие ярлыки на грандиозные, монументальные эти фигуры?..

Помимо всего – ведь то лишь слова, слова, слова... Я уверен, Вольтер, Фихте и Достоевский, какие бы слова они не произносили, ничьей крови не жаждали, в том числе и крови не слишком-то любимого ими еврейского племени... И окажись, например, Федор Михайлович спустя четыре года после того, как написаны им были приведенные выше строки, – окажись он в Одессе во время знаменитого, длившегося три дня и три ночи погрома, он первым бы кинулся наперерез погромщикам и заслонил собой какого-нибудь маленького, в курчавых волосенках жид очка (он питал слабость к этому именно слову)...

И нужно было, чтобы случилось еще многое и многое, чтобы Фридрих Ницше, новый человек (а те трое, несомненно, были старые, архаичной морали люди) возвестил свое Анти-Евангелие и доказал пошлость и лживость десяти заповедей, и чтобы человечество, пройдя через Первую мировую войну, привыкло к запаху гниющего, разлагающегося человеческого мяса, а к убийству – как занятию будничному, отчасти заурядному, отчасти патриотичному, и чтобы на смену Великим Титанам Духа явились титаны помельче, и даже вовсе не титаны, а разносчики, преобразователи высказанных задолго до них идей, и приблизили эти несколько абстрактные идеи к практической жизни – я имею в виду скажем, Освальда Шпенглера, с горечью объявившего в «Закате Европы», что гуманизм умер, изжив себя, француза Жозефа Гобино, в изящном по стилю труде «О неравенстве человеческих рас» возвестившего, что понятие расы – главнейшее из всех исторических категорий, а из рас главнейшая – арийская, а из арийцев самые ариистые – немцы, и чтобы мысли его подхватил и развил дальше английский аристократ Хьюстон Стюарт Чемберлен, который благословил перед смертью (он умер в 1927 году) Адольфа Гитлера на грядущие подвиги, а кроме того, доказал, что Иисус Христос являлся чистокровным арийцем, – все это и многое другое должно было произойти и утвердиться в мире, чтобы впоследствии оформиться в чеканных параграфах Нюрнбергских законов в Германии. И вот как это выглядело:

«ИМПЕРСКИЙ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1935 г. Рейхстаг единогласно принял следующий закон, который ниже публикуется...

Еврей не может быть гражданином империи. Он не имеет права голоса в политических делах; он не может занимать публичную должность...

Фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер, рейхсминистр внутренних дел Фрик, заместитель фюрера Ф. Гесс, рейхсминистр без портфеля».

Далее делом занялись уже юристы, для которых важны не философские эссе и политико-нравственно-патриотические декларации, а отточенные формулы, регулирующие правовые нормы жизни. Так, например, евреям запрещалось состоять в браке или вступать во внебрачные отношения с лицами германской крови. Евреи лишались права голоса («Рейхсгезетцблатт», 1936, часть 1, с. 133). Евреям запрещалось занимать официальные должности или состоять на государственной службе («Рейхсгезетцблатт», 1933, часть 1, с. 227). Евреям-врачам запрещалось заниматься частной практикой, в том числе зубоврачебной («Рейхсгезетцблатт», 1939, часть 1, с. 47). Евреям запрещалось заниматься юриспруденцией («Рейхсгезетцблатт», 1938, часть 1, с. 1408). Евреям запрещалось заниматься делами печати и радио («Рейхсгезетцблатт», 1933, часть 1, с. 661). В 1938 году их исключили из деловой и экономической жизни Германии («Рейхсгезетцблатт», 1938, часть 1, с. 1580). А несколько ранее им запрещалось заниматься сельским хозяйством («Рейхсгезетцблатт», 1933, часть 1, с. 685), и тогда же – пользоваться тротуарами, транспортом, увеселительными заведениями и ресторанами («Рейхсгезетцблатт», 1933, часть 1, с. 1676) и т. д. и т. п. («Нюрнбергский процесс» т. 4., с. 659–684).

Тем не менее все это еще не решало проблемы. И потому Альфред Розенберг, автор книги «Миф XX века», заявил: «Еврейский вопрос будет разрешен только тогда, когда на Европейском континенте не останется ни одного еврея».

Что именно имел в виду Розенберг под освобождением Европейского континента от евреев – переселение их на Мадагаскар, в Уганду или Палестину, о чем и сами еврей-сионисты начали толковать еще в конце прошлого века, после дела Дрейфуса и российских погромов?.. Не знаю. Но, сдаётся мне, мысли Альфреда Розенберга совпадали с мыслями его старого товарища по партии Ганса Франка, который, беседуя с самим собой в собственном дневнике, писал: «Я, конечно, не могу истребить всех вшей и всех евреев в течение одного только года, но с течением времени... эта цель будет достигнута».

Тем не менее не станем упрощать. Поскольку перед всеми радателями о чистоте национальной культуры, о выделении ее из мешанной-перемешанной за столетия-тысячелетия культурно-исторической среды рано или поздно встает мучительный вопрос: кого считать истинным сыном (дочерью) своего народа и кого – не считать?.. В Германии занялись этим всерьез.

По тем же Нюрнбергским законам лица, у которых оба родителя – евреи, подлежали «депортации», т. е. высылке или заключению в концлагеря. Те же меры следовало принимать по отношению к «полукровкам», т. е. имеющим одного родителя-еврея.

У кого же еврейской крови одна четверть, т. е. лишь один из дедушек или одна из бабушек являлись евреями, те могли жить, но полноценными гражданами не считались: они не могли занимать должности в государственных учреждениях, быть членами партии, служить в армии. Им не разрешалось лечиться в общих больницах, посещать общественные учреждения для арийцев, пользоваться бассейнами, стадионами, предназначенными для арийцев, и т. д. Однако желтой повязки со звездой Давида они могли не носить.

Зато имевшие одну восьмую еврейской крови могли работать всюду, кроме особых госучреждений, аппарата партии, СС и т. д.

Здесь мысль германских национал-патриотов шагнула далеко, но – на законе, гласно принятом и единогласно одобренном, не задержалась. Впереди была цель столь высокая, что никакой закон уже не мог до нее дотянуться...

Цель была – освободить Германию, Европу от коварнейшего, безжалостнейшего врага, т. е. уничтожить евреев только за то, что они – евреи.

Их уничтожили: шесть миллионов человек. Из принципа, которым нельзя поступиться.

После 1933 года в Германии возникло множество концлагерей. Обращение с заключенными в этих лагерях было жесточайшим. Их морили голодом, избивали, над ними всячески измывались. Так поступали с политзаключенными – коммунистами, социал-демократами, интербригад овцами, воевавшими в Испании. Но на территории Германии никого не убивали в газовых камерах. Лагеря смерти – это нечто другое в сравнении, так сказать, с обычными лагерями. В лагерях смерти люди не успевали умереть от голода. К платформе подходил поезд из 30, 40, 60 вагонов, и через два часа все, кого привезли в этих вагонах, оказывались уничтожены («Московские новости», 19 декабря 1989 г.).

Между прочим, когда германские патриоты, оравшие «Дойчланд, Дойчланд, юбер аллее!», еще не догадывались об истинных намерениях отцов нации, в Европе и Америке уже понимали, к чему идет дело. В 1938 году во Франции, в городе Эвиане состоялась по инициативе Рузвельта конференция, посвященная проблеме беженцев из Германии и тех, кому грозили там преследования. На конференции присутствовали представители многих держав, гремели речи, полные пафоса и гнева. Но принять к себе нарастающий поток беженцев не вызвалась ни одна страна, кроме Доминиканской республики: ее делегат сообщил о готовности своего правительства принять 100 000 человек...

16 декабря 1941 года Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши, произнес в Кракове речь: «Поскольку дело касается евреев, я хочу сказать вам совершенно откровенно, что с ними надо покончить тем или иным способом. Что нужно делать с евреями?.. Господа, я должен просить вас отказаться от всякого чувства жалости. Мы должны истребить евреев, где бы мы их ни находили, и всякий раз, когда это только возможно. Мы должны найти путь, который ведет к цели, и мои мысли работают в этом направлении. Устарелые взгляды не могут применяться для выполнения такой исключительно важной и единственной в своем роде задачи...»

20 января 1942 года в Берлине, на улице Ванзее состоялась конференция (она так и фигурирует у историков фашизма – «конференция в Ванзее»), на которой ответственные главы партии и государства приняли решение – отправить евреев из рейха «на восток», и не только из рейха, но также из Австрии, Богемии, Словакии. Речь шла о «переселении»...

В переводе с нацистского языка на человеческий «переселение» означало «истребление».

«В лагере Освенцим в течение июля 1944 года ежедневно убивали 12 тысяч евреев... Так как крематорий не мог пропустить такое количество трупов, то они сбрасывались в глубокие ямы и засыпались негашеной известью...»

«В марте 1942 года немцы приступили к сооружению лагеря Треблинка-Б близ Треблинки-А... Среднее число евреев, которые доставлялись в лагерь летом 1942 года, достигало двух железнодорожных эшелонов в день. Но были дни, когда это количество превышалось...»⁹

На «конференции в Ванзее» было подсчитано, сколько евреев живет в каждой европейской стране и в Европе в целом. Получилось – 11 000 000 человек. Решая «еврейский вопрос», их уничтожили больше половины. Так что, как видим, «вопрос» этот при всем старании не удалось разрешить до конца...

Не думал и не думаю спорить с антисемитами. Мне хотелось лишь проследить, какие странные, иной раз парадоксальные связи возникают между Словом и Делом... Вольным изложением раскованной мысли и пеплом Освенцима... Да и в том ли только парадокс?..

Ведь вот какие горькие пассажи откалывает история! «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» – пелось в одной веселой и легкомысленной песенке. Не «одни евреи». С евреев – началось, о них, как о главном враге немецкого народа, Германии, всего мира говорилось в программе национал-социалистической партии, принятой в 1920 году. Но в развязанной фашистами борьбе за «новый порядок в Европе», как известно, погибло 50–55 миллионов человек,

⁹ «Нюрнбергский процесс», т. 4, с. 675–676.

ранено было – 35–37 миллионов, от вызванных войной голода и эпидемий умерло 8—12 миллионов, 18 миллионов прошли через лагеря различного назначения, и были это... Стоит ли перечислять народы, нации, страны, чьими сынами и дочерьми они являлись?.. Как известно, запасы газа циклон-Б, оставшиеся неизрасходованными, рассчитаны были на 20 000 000 человеческих жизней, что значительно превышало количество евреев, проживавших в Европе до войны...

Так что – таким ли уж еврейским оказался на деле «еврейский вопрос», горячивший многие головы в прошлом, горячащий немало голов теперь?..

50

О черная гора.
Затмившая весь свет!
Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь – быть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз – по теченью спин...

51

Как-то в начале февраля я вышел на улицу. Воздух был прозрачен, с неба струилась чистая, пронзительная синева, деревья, их голые стволы и безлистые ветки, влажные от ставшего снега, нежились в солнечных лучах – будь то черные, корявые карагачи или светлые, в щетине упругих, тоненьких прутиков березки... Такое случается в Алма-Ате: в середине календарной зимы вдруг является весна. Все печали тогда пропадают – вместе с острыми зелеными травками, торчащими сквозь осклизлую прошлогоднюю листву, вместе с набухающими почками ты чувствуешь, что – жив, жив, черт возьми! Пока еще – жив!.. И хотя все остается вроде бы совершенно по-прежнему, ничто не изменилось – волна счастья накатывает откуда-то, подхватывает, поднимает – и несет, несет куда-то!..

Такое вот счастливое чувство накатило на меня в то утро. Может быть, с той же закономерностью, с какой за вдохом следует выдох, а за выдохом – вдох, горечь и ожесточение сменяются у нас периодами доброты, умиления, стремлением видеть на первом плане гармонию и приязнь. Или то попросту были золото и голубизна, разлитые вокруг, тонкие голые ветки, которые источали неодолимое ощущение бесконечной шири, простора и – надежды? Или я впервые – не умом, а сердцем – почувствовал – какое это счастье: не идти в редакцию, не дожидаться в судорогах разговора с автором– графоманом, когда ты волей-неволей чувствуешь себя палачом, не править бездарные рукописи, которые по тем или иным, только не литературным соображениям необходимо напечатать, не внимать рацеям Толмачева, произносимым с таким видом, будто ему известно нечто секретное, государственное, некая сверхтайна, о коей тебе

не положено знать, и не тащить домой папку с рукописями, чтобы читать их вечером и следующим утром – чтобы выполнить обещание, которое ты дал или автору, или ответ-секретарю, или главному редактору...

Свободен, свободен, наконец – свободен! – сказал я себе, повторяя слова, высеченные на могиле Мартина Лютера Кинга. Я проводил по солнечной, праздничной улице до остановки жену и Сашеньку, нашего внука, на прощанье вытянул у него из правого ушка и вложил ему в губки конфетку «Золотой ключик», такая у нас была игра, поцеловал напоследок в бледненькие, отечные под глазами щечки, поймал – уже сквозь автобусное стекло – коротенький взмах его ладошки, потом вернулся домой, расположился за машинкой – несколько часов полностью были моими, и рукопись, над которой я работал, – моей, и сам я принадлежал только себе, ну – хотя бы в реальных пределах, ограниченных издательством, Союзом писателей, цензурой, КГБ, парторганами разных ступеней, а кроме того – десятком болезней, которые делали меня невольником не только чести, но и лекарств, аптек, разводящих руками врачей и т. д. и т. п., – и все же, все же, все же!.. Немыслимая свобода свалилась на меня!

Радость, пламя неземное!..

Я был счастлив.

52

После того как я уволился из редакции, мы с женой подсчитали наши денежные возможности: она получает пенсию в 117 рублей (после двадцати лет работы преподавателем статистики в Институте народного хозяйства) плюс некоторая (в общем-то смехотворная для многих, но для нас вполне достаточная) сумма на сберкнижке – гонорар за недавнюю повесть «Приговор», и решили, что как-нибудь продержимся год или два, ни от кого не завися.

Так что и тут все было в порядке.

Радость, пламя неземное!

Свет небес, сошедший к нам!..

Между прочим, недавно я где-то прочел, что из-за цензуры Шиллер заменил слово «свобода» на куда менее опасное: «радость»... Так оно и осталось: не «Ода к Свободе», а «Ода к Радости». Ну, что ж, пускай хотя бы так: Радость, пламя неземное!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.